А. ДЖАКЫПБЕКОВ

Суровый путь



АШИМ ДЖАКЫПБЕКОВ

Суровый путь

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ

**АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
С КИРГИЗСКОГО
МАРКА ВАТАГИНА**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕКТЕП»
ФРУНЗЕ 1975

С (Кирг)
Дж 22

Дж 22

Джакыпбеков Ашим.
Суровый путь. Рассказы и повесть. Для молодежи. Авториз. пер. с кирг. М. Ватагина. 144 с.

Ф., «Мектеп», 1975 ©

Ашим Джакыпбеков — прозаик и кинодраматург. На родном языке издал четыре сборника рассказов и повестей. В центральном произведении книги — повести «Суровый путь» автор пытается исследовать духовную эволюцию аильского парня Апсамата, эгоистичного, внутренне не подготовленного к борьбе к подвигу. Тяжелые испытания, встреча с коммунистом Назарбеком преобразили его духовный мир. Он погибает как настоящий солдат.

С(Кирг.)

733—121
205—75
М 452(17)—75

© Перевод на русский язык, издательство «Мектеп», 1975 г.

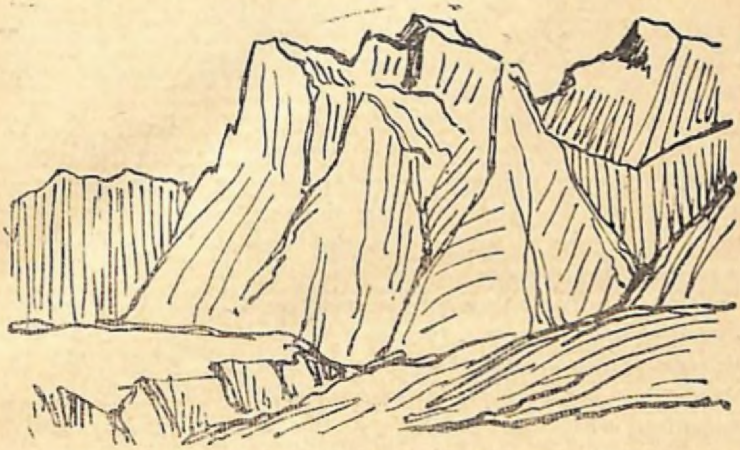
АШИМ ЖАКЫПБЕКОВ
СУРОВЫЙ ПУТЬ
Рассказы и повесть
на русском языке
Для молодежи
Авторизованный перевод с киргизского Марка Ватагина

Редактор С. М. Жажиев. Художник И. Бульба. Худ. редактор Ю. Ким. Тех. редактор А. Андашова. Корректор В. Мединская.

Сдано в набор 13/III 1975 г. Подписано к печати 29/IV 1975 г., формат 70—108$^{1}/_{32}$, 9,0 физич. печ. л., 6,30 услови. печ. л., 6,27 учет.-изд. л. Тираж 15000. Заказ № 1076. Цена без переплета 18 коп. Переплет 6 коп.

Рассказы





МОИ ГОРЫ

ГЛОТОК УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

На самом краю Таласского хребта, где рождается река Куркуреу, высятся две вершины. Одну из них в народе зовут горой Манаса, другую — горой Бакая. Я сейчас сижу между ними в уединении, в прохладе. Добирался сюда на коне больше двух часов. После подъема гнедой стоял с трясущимися коленями, тяжело дышал и только сейчас вот отдохнул, начал пастись. Волоча поводья, тихо щиплет траву на берегу ручья. А Тайган — нет, разве Тайган устанет! — рыщет вокруг, что-то вынюхивает чутким носом.

Среди обломков скал по склону горы Манаса неудержимо скачет поток. В одном месте он падает отвесно — белый, пенистый грохочущий водопад. Шум, многократно отраженный, густо наполняет пространство

между горами Манаса и Бакая. Кажется, что это — равномерный, никогда не смолкающий голос Вселенной. Он будто поднимает меня на своих крыльях, дает ощутить необъяснимую легкость...

«Почему человек тоскует без гор?» Меня издавна занимает этот вопрос. Есть и ответы: «Горец не может без гор, потому что среди них родился. Жителей долин чарует только их величие, красота». Это совсем не то, в моей душе есть ответ более точный, но я не могу выразить его словами.

Вчера я вернулся в родные края. Когда наш автобус выбрался, наконец, из ущелья Черной горы в широкую вольную долину, первое, что я увидел, были эти две горделивые вершины, Манас и Бакай. Они похожи на аксакалов, которые сидят рядом на почетном месте. Они первыми видны, они первые все видят. Я думал о них, когда ехал в автобусе. Я соскучился по этим вершинам. Автобус тащился по ущелью, а мысли стремились, обгоняли его, вылетали в долину, искали родные с детства очертания хребта. «Почему человек тоскует без гор?» Да, пока я трясся в автобусе, я как будто даже боялся: вдруг гор не окажется на месте. А когда увидел две величавые вершины, похожие на двух едущих рядом богатырей, успокоился, как путник, который убедился, что не потерял дорогу. Успокоился — это не то. Я обрадовался!

Когда я думаю о горах, вспоминается всегда одна и та же ночь. Было это в далеком детстве.

День стоял пасмурный, сумрачный, по аилу гулял холодный, пахнущий снегом, ноябрьский ветер, иногда лил ледяной дождь. Наступила ночь. Перед сном я вышел из дому. Смотрю: ветра нет, туч нет, небо чистое-чистое, а звёзды, будто умытые дождем — свежие, яркие, одна к одной! Я посмотрел на горы и замер в восхищении: в горах выпал снег, и на фоне темного неба вершины, казалось, были облиты молоком... Я стоял

завороженный, пока меня не позвали. Когда я думаю о горах, вспоминается то, единственное, ошеломляющее видение. Я вечно радуюсь, что вышел из дому в ту ночь.

А сейчас я сижу на этой горе. Внизу, насколько хватает глаз, вьется серебряная лента — блестит река Куркуреу. Наш большой аил, зеленеющий, как свежий клевер, сейчас не больше ладони. А школа и клуб, которые возвышаются над аилом, отсюда и вовсе не приметны. В горах великаны кажутся букашками. Вот бы тех, кто мнит себя великими, вывезти в горы...

Я поднимаюсь. На душе легко. Вчерашние заботы рассеялись, растаяли. Гнедой стоит, опустив голову, подремывает. Солнце в зените, прямо между двух вершин, над самой моей головой. Архары сейчас на лежке. Стадо отдыхает в тени под скалами. Как бы не поднялись, пока я доберусь до них. Путь теперь потруднее. Конь до снегов не дойдет, придется оставить в дороге.

Я подтянул подпруги, взял Тайгана на длинный поводок и тронулся. Гнедой отдохнул и теперь хорошо пошел в гору. Я не стал его погонять, пусть идет, как знает.

Охотник из меня не ахти какой, но побродить по горам — моя страсть. Не только страсть — потребность. Если в какой-нибудь из приездов в аил я не ходил в горы, то, вернувшись в город, был не в себе, ощущал беспокойство, будто где-то что-то забыл, оставил...

Да, а из города я только вчера. Уехал совсем. Хватит. Может быть, обижен на судьбу? Но, говорят, судьбы нет. Тогда на жизнь? Но хозяин жизни, говорят, сам человек. Остается обижаться на свою беспомощность. Видимо, обиделся на себя, убежал от себя.

Жену и сына я отправил еще две недели назад, а сам приехал только вчера, надо было закончить работу, сдать дела.

Оказывается, я не городской житель, не могу быть городским. Окончил институт, обзавелся семьей. Время шло, надежда, что жизнь наша выправится, устроится, станет не хуже, чем у других, держала нас в городе целых три года и, наконец, иссякла. Я пал духом. К чему такая жизнь? И мы решили уехать в аил.

Когда я садился в автобус, когда автобус оставил за собой последние дома города, я не испытывал горечи, наоборот, хотелось махнуть рукой на этот город, в котором я столько мыкался, и теперь вот, слава богу, уезжаю. В то же время я думал: в городе без меня не убудет, город не заметит, что я его покинул,а вот в аиле меня заметят... Что я буду говорить родичам и знакомым? Почему уехал? Я чувствовал себя гончей, которая не догнала лису и теперь, виновато виляя хвостом, несмело бежит к хозяину.

Чем ближе к дому, тем больше я думал о жене, все чаще вспоминал ее грустный, полный укора, взгляд. Она уезжала в слезах. Вместе мы советовались, вместе решили уехать в аил... А на автостанции она не выдержала, расплакалась. И я терзался, что все дело в моей неприспособленности.

С подъемом гнедой дышал все тяжелее. Он трудно сгибал и разгибал колени, скользил по камням, спотыкался. Я спешился, повел его в поводу, жаль было конягу. Если бы я думал вернуться этим путем, я бы его, конечно, не мучил, оставил бы здесь. Но я собираюсь пересечь этот склон и пройти к Туя-Карыну. Ведь в горы я пошел дня на три-четыре. Есть много мест, где хочется побывать.

Вскоре подъем стал круче, а обломков скал, похожих на верблюжьи горбы,— еще больше. Пришлось все-таки оставить коня. Я взял Тайгана на поводок и пошел пешком.

Чем дальше, тем тяжелее ноги, в груди пощипывает, сердце бьется слишком часто. Пройду десять шагов —

отдыхаю. Опираюсь на ружье, еле стою. С ледника веет снежной свежестью, холодит потный лоб. Тайган вскидывает голову, принюхивается. Архаров он еще не учуял, а то бы начал рваться с поводка.

Мучает одышка. Ловлю воздух открытым ртом. За что, за что мне эти муки? Да пропади они пропадом, все эти кийики![1] Что они, враги мои? Почему я должен гоняться за ними по горам, выслеживать, убивать? Хочется плюнуть и пойти вниз. С колотящимся сердцем смотрю в долину. Там мой аил, там хорошо, там покой... А все-таки с утра пройдено немало, до ледника уже недалеко. Напрягаю все силы и лезу дальше.

Вероятно, я слабовольный. Есть у нас в аиле охотник Абыл. Не раз я ходил с ним в горы, пробовал идти не хуже, не отставать. Куда там! Недосягаем. Тоже ведь устает, идет тяжело дыша, лицом аж темнеет. Но упрям! На подъеме наметит какую-нибудь маленькую цель и прет, пока не доберется. Потом отдохнет немного и опять вперед. А я за это время отдыхаю два-три раза. Я ведь не иду прямо по склону, стараюсь, чтобы уклон был меньше, иду вкось. После того, как он достигнет вершины и хорошенько отдохнет, добираюсь, наконец, и я. А за этой вершиной видна другая, повыше. «Козлы вон на той горке, нельзя время упускать»,— говорит он и трогается. Я так и не успеваю передохнуть, опять плетусь за ним.

Если бы природа разделила людскую долю по вершинам, мне бы, наверное, не досталось ничего.

А может быть, так оно и есть.

Я лежу в прохладной тени под большим камнем, лежу на спине, разбросав руки и ноги. Ах, какое это блаженство! Спина чувствует прохладу земли, глаза закрываются. Дыхание успокаивается.

---

[1] Кийик — общее название диких раздельнокопытных животных.

Рядом, свесив язык, лежит Тайган. Да, это другой мир, здесь все другое... Все земные треволнения где-то далеко, внизу, они как бы и не существуют. А здесь тишина, чистота... Один на один с целой Вселенной, без забот, без суеты...

Человек, который никогда не был на вершине, наверное, несчастен.

* * *

...Сразу после женитьбы мы нашли частную квартиру. Нам повезло. Хозяин наш, Иван Карпович, полный рыжеватый мужчина с крупным носом, покрытым сеткой красноватых жилок, оказался человеком добрым, душевным. Не зря говорят: «Ищи не дом, ищи хозяина». Иван Карпович и дом поставил большой добротный, хоть куда! Шесть комнат! Сам был уже два года на пенсии, дети жили в других городах. Дом он построил, видно, с расчетом, что когда-нибудь все соберутся вместе. А пока хозяева занимали три комнаты. В другие три пускали жильцов: в одной мы с женой, в другой — тоже молодая пара, средняя комната была общей.

Иван Карпович приехал в Киргизию еще во времена гражданской, воевал на юге с басмачами, говорил по-киргизски, знал нашу жизнь, наши обычаи. Любил рассказывать. Заведет, бывало, вечерком истории из борьбы с басмачами — говорит без устали, а если пропустит двести граммов — не унять. Многое он повидал в жизни, в каких только переплетах не был! А в последние годы перед пенсией занимал ответственные посты. Большим человеком был. Во дворе его стояла собственная «Волга».

Александра Васильевна, жена его, круглая, но подвижная и работящая, содержала дом и двор в идеальном порядке. Иван Карпович только от скуки пройдет по саду, срежет кое-где сухие ветки, а главная его за-

бота — рыбалка. Как уедет с утра на «Волге», так до вечера его нет.

— Вот это житье! — говорил Кадыралы, мой сосед, любовно оглядывая «Волгу». — Когда-то мы доживем до этого...

— Эх, ребята,— говорил Иван Карпович,— молоды вы еще. Запомните главное: пусть дорога ваша будет прямой, а работа—честной, была бы голова цела, а добро будет...

Кадыралы, хоть и окончил институт на год позже меня, оказался куда более расторопным, жизнеспособным, зрелым, что ли. Однажды пришел с вестью:

— Буду ставить дом. Получил за городом участок.

— Ого! Сам построишь? Как же это?..

— Э, главное — начать. А там само пойдет. Тебя на ашар [1] позову.

Ну, силен, подумал я. Решиться строить дом... Кирпич, лес, кровля. Все надо доставать. Сколько труда, изворотливости! А денег!.. Зарплата у Кадыралы приличная, да и поддержка есть... А моих денег едва хватает на двоих от получки до получки. Нет, стройка не для меня. Лучше терпеливо стоять в очереди на квартиру.

Кадыралы был веселый, энергичный, остроумный парень. Часто к нему наезжали из аула. Кумыс, бараны не переводились. Гостей его я не мог упомнить: все новые и новые. Иногда приходили студенты, которых он приглашал на ашар. А однажды я увидел около дома несколько легковых машин. Высокие гости, подумал я, усмехнувшись.

Вскоре Кадыралы весело сказал:

— Поздравь, получил квартиру!

— Со всеми удобствами? — вырвалось у жены.

— А как же!

— А дом твой... ты же строишь?..

---

[1] А ш а р — взаимопомощь.

— Продам!

Мы радовались за него. На прощанье выпили, помогли переехать. Вернулись домой, жена надулась, не разговаривает.

— Что с тобой?

— Вот люди квартиры получают...

— Так ты из-за этого? Но ведь и мы получим...

— Хорошая у них квартира,— вздохнула жена.

Иван Карпович как-то сказал:

— Вижу, никогда ты не будешь хорошо жить. Вон Кадыралы! Тот знает что к чему.

Я промолчал. Что я мог ответить? Иван Карпович подумал и сказал:

— Впрочем, так жить не надо. Думаю, не все там чисто. — И он отечески положил мне руку на плечо.

Осенью Иван Карпович умер. Съехались все дети, собрались бывшие сослуживцы... Процессия заняла всю улицу. Я шел рядом с Кадыралы, он вдруг сказал:

— Черт побери, наверное, это неплохая смерть, если за тобой идет столько машин!

Меня передернуло.

Александра Васильевна и так последние годы была нездорова, а тут горе ее совсем подкосило. Дети решили мать увезти к себе, а дом продать.

— Что же с нами будет? — спросила жена.

— Подождем, посмотрим,— сказал я.

— Странное состояние... будто дом вместе с нами продают...

Я усмехнулся.

Почти так и получилось. Пришел новый хозяин. Был он грузный, неряшливый, с коричневым от загара лицом, с толстой шеей. Ел быстро, чавкал, а жир каплями стекал по подбородку.

— Ну что ж, дорогие гости, пора освобождать помещение. У меня есть кем его заполнить, нахлебников много,— сказал он.

Я попросил у него три дня, и мы с женой бросились на поиски. Она обошла ближние улицы, я ходил по дальним. На остановках обшаривал глазами все столбы, искал объявления о сдаче квартиры. В те дни я пришел к выводу, что нет ничего мучительнее этих поисков. Я ведь жил в хорошем доме Ивана Карповича, и теперь хотел найти что-нибудь подобное. В плохонькие домишки я даже не заглядывал. Потом, в изнеможении возвращаясь, я уже рад был попасть в какую-нибудь низенькую подслеповатую хибару, которую я презрительно обошел стороной, но оказывалось, что там комнату не сдают или уже сдали. Кончалось лето, из аилов в город устремились студенты, и комнаты были нарасхват. Каждый день — час перед работой, два часа после работы — я обивал пороги. Прошла неделя. Я набрел на старуху, которая показала мне времянку, похожую на дровяной сарай. Во дворе был вишневый садик и грядки с зеленью. С цепи рвалась злющая черная собака. Пока я рассматривал мое будущее жилище снаружи и внутри, старуха, стиснув губы, молча следила за мной. Потом мы договорились о плате. По правде, платы за четыре месяца вполне хватило бы на постройку этой халупы, но торговаться было бессмысленно.

— Дети есть? — спросила она.

— Нет,— ответил я, ничего не подозревая.

— Жена работает?

— Нет.

— Ну ладно, переезжайте...

Я, окрыленный удачей, побежал домой. Рассказал жене.

— Нет, в такой сарай не хочу,— сказала она.

— Но ведь хозяин торопит...

— Ладно, пойдем посмотрим.

На другой день мы пришли вдвоем. Старуха не показывалась. Мы прошли смело, как к себе домой. Собака на привязи, не доставала. Жена остановилась на пороге «нашего дома», заглянула внутрь и отпрянула, будто увидела там змею. Что и говорить, дом был неказист... Вдруг за спиной раздался голос старухи:

— Нет, нет, я вас не пущу.

Мы оглянулись. Сгорбленная, вся в черном, стояла она совсем рядом и смотрела на жену.

— Ты что ж это меня обманывал? — с укором проговорила старуха. — А это что? — она пальцем указала на живот жены. — Сказал, нет детей. Сегодня нет, а завтра... Шум, плач, а как подрастет — зелень топтать будет. Нет, милые мои, ищите другую квартиру.

Мы не могли сказать ни слова, стояли ошеломленные. Потом, очнувшись, быстро ушли. До самого дома молчали, я был подавлен. Казалось, я нарочно привел жену, которая жила мыслями о будущем ребенке, к этой ведьме, чтобы выслушать ее злые слова.

Квартиру мы все-таки нашли. Хозяевам она служила летней кухней. Внизу был подвал.

...С верхней скалы посыпались камни. Тайган вскочил. Кажется, я надолго ушел в свои мысли. Солнце перевалило за полдень. «Хороший охотник!» — посмеиваюсь я над собой, поднимаюсь и смотрю вверх. Архары, наверное, оттуда уже ушли. Но надо все-таки сходить, проверить, не зря же одолел такую высь. Я добираюсь до ледника, похожего на окладистую белую бороду. Над ним — отвесные стены. Архаров нигде нет. Даже Тайган ничего не учуял... Сегодня они здесь и не лежали. Свежего помета нет. Наверное, что-то их испугало.

Я не печалюсь. Отпустив Тайгана, сажусь на камень. Тайган убежал далеко, камешки под его ногами уже не шуршат.

Шум невидимой реки заполняет пространство. Вечный величественный шум. Он как-то сродни этой несравненной вершине. Гора вздымается, гордо выпятив грудь, и кажется, не будь ее — небо рухнуло бы на землю...

Сколько веков стоят эти хребты? Геологи говорят, что горы наши молодые, им всего пятьдесят миллионов лет. Миллион для меня — абстрактное понятие. Я не могу ощутить величины этого числа. Вот несколько тысяч — это много. А несколько миллионов — пустой звук. Горы эти стояли задолго до появления человека на земле, точно так же шумела вода и катилось эхо над скалами... Сколько еще веков после нас они простоят? Да, если что и вечно в этом мире, то, конечно, горы. Рядом с их жизнью жизнь человека — как вспыхнувшая на миг искра...

С этими мыслями я встаю и иду назад, туда, где пасется мой конь. Пока не завечерело, надо найти пастбище и место для ночлега. Тайган, услышав, что я ухожу, догнал меня и побежал впереди, быстро обнюхивая камни.

Солнце спешит к закату. Пройдя осыпь, я вижу среди камней Тайгана, который что-то отыскал. Подхожу ближе. Это голова архара. Судя по крупным закрученным рогам архар был матерый. Подстрелили его вчера: кость у основания рогов была свежей. Теперь стало ясно, почему архаров не было под ледником: одного кто-то подстрелил, остальные ушли. Голову барана охотник бросил, ведь если рога не нужны, если не прельщает их витая тяжесть, то для уставшей лошади это лишний груз. Лиса уже успела обглодать голову и выесть глаза. Мало того, она нагадила как раз между рогов, осквернила мощный лоб архара. Я усмехнулся. Охотники говорят, лобовая кость у крупных самцов достигает толщины пальца, ее не пробить пулей из мелкокалиберки. Я не пробовал, не стрелял, но, наверное, это так. И вот поганая лиса, которая не стоит и ноги архара, не только жрет его глаза,

но еще гадит на могучий лоб. О мирозданье, где твоя справедливость?!

Туя-Карын [1] действительно оправдывает свое название. В одном месте — впадина, круглая, как казан, в другом — круглый бугор; все шершавое, вспученное — ну точно, как неочищенный желудок верблюда.

Пока я брел по Туя-Карыну, солнце опустилось еще ниже, и меня догнала тень от вершины Манаса. Я не спеша двинулся к солнечному склону. Тень следовала за мной. Склоны Туя-Карына зеленые, бархатистые, заросли горным луком, сочной травой. Пастбища для архаров — лучше не надо! Я беру бинокль и разглядываю склон. Сразу вижу архаров! Они там, где я не так давно прошел. Осторожно, по два, по три выходят из ложбины, останавливаются и медленно идут по склону. Два архара крупные, возле них, резвясь и пощипывая траву, идут прошлогодки. Но и они вполне выросли...

Я испытываю наслаждение от этого зрелища. Добраться до них? Куда там! Пока дойдешь, будет совсем темно. Остается только любоваться...

Так кончается этот день. С ледника тянет свежестью. Отколов небольшой кусок льда, я спускаюсь. Останавливаюсь у подножья Туя-Карына под большим камнем. Место удобное и коню есть, где пастись. Снимаю седло, стреноживаю гнедого, иду за хворостом.

В горах темнеет быстро. Тащу охапку сухой арчи, развожу костер. Бросаю в чайник кусок льда. Будет отменный чаек!

Свежеет. Мы с Тайганом придвигаемся к костру. Давно я не ездил на лошади, и, видно, с непривычки, болят бедра, ломит поясницу. Приваливаюсь к седлу, полулежу, смотрю на пляску огня. Тайган тоже смотрит на яркие языки, моргает, чуть вздрагивает от треска горя-

---

[1] Туя-Карын — букв. верблюжий желудок.

щей арчи, сидит, крепко упершись в землю передними лапами. В темноту взмывают легкие искры. Тишина. Слышно, как жует гнедой. Шурша крыльями, вдруг пролетает сова. Срывается камешек со скалы. Настораживаемся. И опять успокаиваемся. Но внимательно слушаем тишину.

Жар от огня растекается по телу. Закипает чайник. Сыплю в него заварку. Вытаскиваю из переметной сумки лепешки, сахар, лук. Лук, пожалуй, и не нужен, по пути нарвал горного луку. Наливаю в алюминиевую кружку чай, кладу сахар, дую, пью маленькими глотками и кажется, что в жизни не пробовал ничего вкуснее. Тайган следит за каждым моим движением. Отламываю половину лепешки, кидаю ему.

Вспоминаются «Зеленые холмы Африки», охота Хемингуэя. Что и говорить, его охота с моей не сравнима. Ласковая жена, охотники, проводники... Снаряжение — на грузовиках, сами — в легковых автомобилях. Целая экспедиция! Утром — хороший завтрак, приготовленный поваром, набор самых разнообразных ружей... Охотники его сопровождают, он идет на львов или на буйволов. Повезет — хорошо, нет — не надо, возвращается в лагерь, принимает походную ванну, меняет одежду и потом, уютно устроившись у костра, попивает виски с содовой. Это занятие мне кажется господским: кругом слуги, которые все для тебя делают. Нет, моя охота куда интересней. Здесь все зависит только от меня самого.

Обжигая губы о край кружки, я с наслаждением прихлебываю горячий крепкий чай, он кажется мне куда лучше, чем виски с содовой.

Потом готовлю постель: стелю потник и подпотник, кладу под голову седло, отвязываю фуфайку. Вот постель и готова. Но спать рановато. Лежу не укрывшись, блаженствую. От света костра небо черное-черное, звезды смешиваются с искрами, взлетающими в черноту...

Проснулся в полночь. Зуб на зуб не попадает. Костер давно потух. Тайган, свернувшись калачиком, лежит у меня в ногах. Небо кажется еще темнее. Из-за вершины Манаса выглянула луна. В ее свете ледник блестит, отливает серебром. Коня не слышно, наверное, ушел к воде.

Все тело болит. Попытался встать — показалось, что все жилы растянуты. Но надо встать, надо принести хворосту, соорудить хороший костер. Ноги не сгибаются, ломит поясницу. Главное — конь. Где он? Сначала надо найти гнедого, ведь он может уйти вниз, а аил... Что я стану делать без коня в горах?

Я взял ружье — все-таки страшновато ночью одному — и, превозмогая боль в ногах, пошел вниз. Вдруг услышал шорох совсем рядом. Что это? Оказалось, Тайган. Я и не подумал, что он побежал за мной. Конь стоял у ручья, он дремал. Расстояние от моего ночлега до ручья немалое, это я понял, пока шел пешком вверх, ведя коня в поводу. Но это хорошо, я по крайней мере разогрелся. По пути захватил сушняка, развел костер, подвинул свою постель поближе к камню и решил залечь основательно. Но сон не шел, и я лежал и смотрел на роящиеся искры.

Луна ушла за вершину, ледник уже не блестел, стал серым. Горы тихи и суровы. Но их суровость не пугает. Нет, тут другое. Перед их холодным величием я чувствую не страх, а растерянность. Здесь некого опасаться, в пустынных горах ты один. И все-таки...

Близилось утро. Тайган, подрогивая, улегся рядом со мной. Я подбрасывал сушняк в огонь, млел от тепла и размышлял. Это ли не дом, думал я, посмеиваясь, крыша — небо, стены — горные хребты, ложе — камни. Вот и порядок! Куда лучше, чем болтаться в городе в поисках квартиры! Эта мысль мне понравилась. Горожане должны мне завидовать, они бегут от комфорта

в горы, в леса, ищут романтику, а для меня горы теперь — обычная жизнь.

Перед рассветом надо пойти туда, где вечером паслись архары. Пока дойду, станет светло. Свежак до солнца будет дуть мне в лицо, уносить все запахи. А если опоздаю, архары уйдут за перевал.

Вот доберусь к проголодавшимся за ночь архарам, они будут пастись, забыв о бдительности... Один, крупный, насторожится, поднимет голову, тут я пущу пулю, свалю его! Остальные побегут... свалить бы на бегу еще одного! Даже если раню — тоже хорошо. На это есть Тайган, догонит. Двух архаров гнедой увезет, справится. А если будет три?.. Ничего удивительного, может быть и три. Первого свалю, когда он насторожится, остальные, озираясь, на миг окружат его, тогда свалю второго, а когда они побегут, подраню третьего, Тайган его догонит...

Я рассмеялся. Тайган вскочил, прислушался. Я снова засмеялся, погладил собаку, успокоил ее.

Я смеялся над своей мечтой, не над этой, а вообще над своими неосуществимыми нелепыми мечтами, смеялся над моей привычкой вот так мечтать. Что это? В генах моих закодировано или я это приобрел?.. Бывает со мной такое.

В том году, когда мы поселились в летней кухне, зима была холодной. Под полом лежали железобетонные плиты, покрывающие подвал-кладовку. Пол наш был, как ледяной. Топливо мы заготовили, но плита грела плохо, быстро остывала.

В самые морозы жена родила. Десять дней пролежала в роддоме. Вот когда я намучился! Оказалось, что в комнате у нас до этого было сносно только потому, что жена чуть ли не непрерывно топила. А я топил утром и уходил на работу. Вечером приду, а в комнате —

как в холодильнике. Один-то ладно, соберу на себя все одеяла и покрывала и не чувствую холода. А вот каково будет младенцу и только что родившей матери? Вдруг малышу покажется, что в этом мире слишком холодно?.. От таких мыслей по спине бежали мурашки. Когда до выписки жены из роддома оставалось два дня, я отпросился с работы и начал усиленно топить. Немного потеплело. Кровать я подтащил к плите.

Короче, ребенка мы растили, не пуская на пол. Спал он между нами, чтобы было ему теплей. Мы очень боялись придавить его во сне и вскоре привыкли спать осторожно, почти не ворочаясь. Я и сейчас могу спать на одном боку, пока он не онемеет; оказывается, человек ко всему может привыкнуть. Наш ребенок тоже привык к холоду, казалось, что он закалился. На работе интересовались нашей жизнью и я хвастливо, будто нашел новый метод воспитания, рассказал, как мы укладываем ребенка спать.

— Но ведь это не гигиенично! — возразила одна женщина.

Я очень смутился, но не подал виду. Мне не хотелось, чтобы они подумали, будто мой быт не устроен.

— У нас все микробы замерзли! — отшутился я.

Ребенок был здоров. Но жена моя с той зимы стала очень болезненной. Целыми днями, не разгибаясь, она работала: выгребание золы, топка, стирка пеленок... И все снова и снова. Нас мучило безденежье перед получкой. Это вошло в систему.

Однажды в магазине мне дали на сдачу лотерейный билет. Дома лежало еще два. Взяв в руки все три, я начал разглядывать номера. Вот бы выиграл мой билет... «Волгу» бы выиграл... Продал бы я ее или бы ездил сам? Живу на частной квартире, снимаю никудышную холодную кухню, а ездить на «Волге»? Нет, надо продать и купить дом. Даже если за свою цену продать, на дом хватит. А говорят, можно продать значительно

дороже. Рассказывали, что кто-то за билет, выигравший «Волгу», получил стоимость двух. Откуда у людей столько денег? Нет, я бы продал за свою цену, и скорее купил бы домик. А вот если бы выиграли сразу два билета... Тогда вторая машина пусть будет «Москвичом»... Тогда «Волгу» бы продал, купил бы дом, а на «Москвиче» ездил бы... Нет, лучше «Москвича» продать, на домик хватит и этого, а ездить лучше на «Волге»... это куда солиднее, все будут завидовать... Проехать бы на «Волге» мимо горисполкома и помахать им ручкой, мол, ну вас с вашими квартирами! У меня и дом свой есть, и машина! Конечно, ездить надо на «Волге» и именно сейчас, а к старости зачем нужна машина? С машиной все можно, можно тайком от жены и девочек покатать...

— Ну и собака!.. — сказал я вслух и рассмеялся.

Жена, согнувшись над корытом, стирала пеленки. Сутулая, худая, она испуганно обернулась:

— Кто?..

Я снова засмеялся.

— Чего ругаешься? — сказала она. Больные люди всегда мнительны.

— Нет, милая, это не тебя. Есть тут один...

Со скалы сорвался камешек. Тайган резко вскочил... Воспоминания, думы, черт подери! Опять опоздал!

Пока достиг долины Туюк-Тор, солнце было уже высоко. Да, два дня шататься в горах и никакой добычи! Это и впрямь начало меня злить... А что, разве я обязан непременно убить архара? Но я ушел в горы, ушел с ружьем, и если вернусь с пустыми руками, в аиле будут смеяться.

А Туя-Карын ничего не дал. Может, и дал бы, если б я не замечтался, не упустил время. Когда лучи солнца уже вырвались из-за хребта, я достиг подножия склона, где, по моему предположению, должны были пастись

вчерашние архары. Но лезть прямо в лоб к выпасу мне показалось неосторожным, и я решил снова пойти через ложбину по Туя-Карыну, подняться по правой стороне склона и сбоку выйти к архарам. Слабый от голода, потный, задыхающийся, я почти достиг намеченного места, и тут Тайган вдруг начал рваться с поводка. «Ну, милый, давай»,— подумал я и с колотящимся сердцем прибавил шагу. Азарт меня захватил, я глотал открытым ртом свежий воздух и уже не замечал одышки. Тайган начал скулить. Прижав его голову, я прислушался. Но звуков побега не услышал. Странно. Архары должны были пастись на ровной площадке метрах в пятидесяти выше меня. Пока я пыхтя одолевал эти метры, стало совсем светло. Тайган почему-то успокоился. Я глянул из-за камня на заветную площадку. Пусто. Тогда я встал в рост и прошелся туда-сюда: везде свежий помет, примятая трава, тут они лежали... Я разглядывал следы на земле, а Тайган слезящимися от утренней свежести глазами уставился на гребень. Я отвязал его, и он рванулся круто вверх. Я посмотрел туда, куда он направился, и увидел, как через гребень, освещенный солнцем, переваливали архары. Их красно-бурые спины играли в утренних лучах, и это было острое зрелище! Они шли плавно, степенно, желанные и недосягаемые. Я думал: стыдно стрелять таких прекрасных животных. И в то же время мучился, что не мог подстрелить.

А теперь, пройдя Туя-Карын, стою в долине Туюк-Тор у подножья горы с плоской вершиной. Эта лысая вершина — спокойное пастбище для архаров, и я думаю, как бы мне туда забраться. Если пройти по долине вверх до конца, то оттуда идет по склону тропа, по ней даже на лошади можно подняться, раньше с охотниками я здесь ходил. Но сейчас меня что-то воротит от той тропы. Интересно, пробовал ли кто подняться с этой стороны? По-моему, это возможно. Но тогда надо бросить коня здесь и идти пешком. Как бы ни было, а спер-

ва надо немного подумать, закусить. И я спустился к ручью. Солнце начало припекать. Я поел, прилег на плоский камень и начал разглядывать гору, на которую предстояло забираться. «А может быть, не лезть, если не уверен, что подстрелю архара?» — думал я, хотя понимал, что эта ленивая мысль возникла от блаженства, которое я испытывал, лежа с закрытыми глазами на теплом камне. Я знал, что все равно полезу и все-таки пребывал в нерешительности.

Вдруг услышал клекот беркута. Открыл глаза, небо чистое, солнце слепит, ничего не видно. Но клекот повторился. Я заинтересовался. И тут увидел появившихся из-за скалы двух беркутов, они летели совсем рядом. Один из них держал в лапах что-то большое, тяжелое. Вдруг он выпустил свою добычу и прокричал. Второй беркут спикировал и подхватил тушу. Я навел бинокль: беркут нес небольшого архара. Я изумился. Архар, кажется, был еще жив, он дергался, но, видно, понимал, что вырываться бесполезно, ведь если он упадет с такой высоты, то гибель неминуема, и поэтому терпел стальные когти, вонзившиеся в его тело, и не сопротивлялся. Но мог ли архар что-нибудь понимать? И все же, глядя на его пассивную позу, на задранную к небу голову и свесившиеся ноги, я был уверен, что понял состояние смирившегося с судьбой архара. А беркуты летели над долиной Туюк-Тора, прямо надо мной, и когда один уставал — с криком передавал добычу другому. Туша не успевала пролететь и пятидесяти метров, как ее подхватывал ринувшийся вниз второй беркут. «Хвала вам! Хвала вашей силе, вашему мужеству, вашей смекалке! — подумал я. — Вы рождены для высоты, для просторов».

Вскоре беркуты скрылись, они унесли архара в сторону скал Саятчи, видимо, там они гнездятся.

В наш город иногда в середине зимы приезжал зверинец. Я заходил туда. Мне всегда было жаль заморенных грустных зверей, но особенно тяжко было смотреть

на беркута, тигра, льва и слона. Этих четверых я выделяю из всего животного мира: беркут — богатырь неба, тигр и лев — богатыри земли, а слон — самый сильный, самый великодушный. Трудно видеть их за решеткой, униженных, вырванных из родной стихии. Беркут здесь без высокого голубого неба, тигр — без свежей крови, слон — без тучных просторных пастбищ...

Сейчас, увидев беркутов, я вспомнил мои мысли в зверинце, но, оказывается, я там не думал о другом: в чем вина бедного архара? Он ест только траву, никому не угрожает, никому не вредит, чистое, благородное животное... И вот поэтому он должен служить пищей сильным мира сего. С неба на него бросается беркут, из-за кустов — волк, а теперь еще и человек с ружьем подстерегает. Что делать архару? Он — пища для сильных.

Однажды весной возвращаюсь домой с работы. Лихо обогнав меня, останавливается новенькая голубая «Волга». Сидящий рядом с водителем машет мне рукой. Подхожу. Это, оказывается, Кадыралы.

— Здравствуй, друг, садись! — кричит он и пожимает мне руку.

— Куда?

— Садись, говорю!

Душа моя всегда волнуется при виде «Волги», и мне было лестно, что ради меня остановилось это голубое чудо. Я сел, Кадыралы перешел ко мне на заднее сиденье.

— Что с тобой, друг, сам в гости не приходишь, друзей не приглашаешь? — по привычке весело заговорил Кадыралы. Я не успел ничего ответить, а он продолжал: — Я бы и без приглашения пришел, да боюсь, принять не сумеешь, ведь ты бедняк! Ха-ха-ха!

Говорил он правду. Я тоже рассмеялся.

— Ну, как дела, как жизнь, дружище? — спросил он просто и душевно.

— Нормально, Кадыралы, все в порядке.

— Как Салкын? Как сын? Когда пригласишь на угощение в честь первенца?

— Все здоровы... приглашу... Ну а ты как? — спросил я в свою очередь.

— Как видишь! — снова переходя на шутливый тон, сказал Кадыралы. И опять серьезно спросил: — Как у тебя с квартирой?

— Без движения. Из десяти человек никто пока не получил.

— Из очередников действительно никто. А вот замнач из вашего управления уже получил.

— Я знаю, но нам сказали, что ему дали квартиру от министерства...

— Какое там министерство! Вашу квартиру отдали ему. Квартиру из фонда этого года.

— Почему же?.. ведь он только приехал...

— Приехал и получил.

— А директор сказал, что нам в этом году не выделяли...

— Эх, мальчишка! На то он и директор. Чего он пойдет против старших?

Я был подавлен. Некоторое время ехали молча. В душе у меня вскипало возмущение. Вот ведь, черт побери! Изо рта вырвали! Кадыралы вдруг сказал:

— Ты бы лучше не важничал, а жил, как другие.

— Это как?

— А вот так. Был я на днях у одного человека, у важного человека. Мы с ним друзья. Я сказал о тебе, мол, пора бы тебя повысить. «Что он за парень?» — спросил мой друг. «Очень честный»,— ответил я не подумав. «Такого выкормишь, а он тебе потом пасть разорвет»,— сказал друг.

— Большой оригинал,— только и сумел я сказать.

— Эх, милый, ведь я о тебе беспокоюсь! Ты, наверное, думаешь: «Кадыралы быстро вырос, на «Волге» ездит, меня за ровню не считает, свысока смотрит... «Нет, дорогой, я считаю тебя своим товарищем, старым товарищем. Один раз сорвался, не подумав, сказал о тебе правду начальнику, подвел. Но больше такого не будет. А сам ты должен стать немного покладистее. Принципы жмешь, а какие могут быть принципы, когда жрать охота? Не зря говорят: пока не в силе — подожди, пока не у власти — помолчи.

— Но я так не умею...

— Не умеешь — жизнь научит. Умного зовут хитрым, скромного зовут глупым. У кого не хватает сил быть хитрым, тот хватается за высокие слова, вроде твоего, «принцип».

— Ты еще добавь: слабый верит в загробную жизнь, в райское блаженство, награду за смирение.

— Ну-ну, не сердись.

— Останови, я выйду.

— Да что ты? — Кадыралы дружески обнял меня за плечи.

Я понял, что он уважает меня, расположен ко мне, и не смог уйти.

Мы поехали в аэропорт. Начальник Кадыралы улетал на курорт. Пришли сослуживцы.

— Я предлагаю в ресторан... — сказал один.

— Нет, там много глаз, пойдемте в рощу, под деревья...

Все решили, что это лучше, и двинулись к деревьям. До посадки был еще целый час. Образовался уютный кружок с коньяком. Начальник был краснолицый плотный человек с воловьей шеей. Все тосты были за его здоровье, за поправку его здоровья. Не пил только один, видно, он был болен и все знали, что он болен, потому что его не мучали, не наседали, не заставляли пить.

Этот тощий бледный человек один раз только поднял стакан, сказал: «ваше здоровье», пригубил и поставил. Скоро все захмелели. Кадыралы в этой компании был не только своим человеком, но и записным шутником.

— Ай, Маке, нехорошо,— сказал он,— один трезвый среди пьяных сидишь, критикуешь нас со стороны. Нука, подними одну!

— Нет, нет, вы же знаете...

Пьяная компания поддержала шутника.

— Возьми один, с одного ничего не будет.

— Жив останешься, не умрешь...

— За Джумаша Сакиевича!

— За нашего Джумаша Сакиевича!

Тощий человек конфузливо отказывался. Тогда сам Джумаш Сакиевич крепко обнял его и поднял стакан. Кажется, он тоже был шутником.

— Ты что же, дорогой, хочешь, наверное, чтобы мой самолет разбился? Ха-ха-ха! — И вручил стакан тощему. У того уже не было выхода.

— Что вы, Джумаш Сакиевич, перед дальней дорогой... так говорить нельзя... Ну, счастливо вам добраться... Хорошо вам отдохнуть... вот за это... — И он опрокинул стакан.

Все загудели, все стали хвалить тощего человека. Потом наливали еще и еще. Тощему уже незачем было противиться и он, хоть морщился, но покорно вливал в себя убийственное зелье. Подошло время и Джумаш Сакиевич со всеми душевно расцеловался. Он был, несомненно, простым человеком. Самолет улетел. Выпивка еще оставалась, поэтому вернулись под деревья и продолжили. Я опьянел. Мне захотелось стать таким же веселым, непринужденным и жизнерадостным, как Кадыралы. Но, видно, таким быть нелегко: над моими остротами никто не смеялся...

Я вдруг почувствовал холод и пришел в себя, мысли начали проясняться. Был поздний осенний вечер. Оказалось, я брел по темной пустынной улице. Где я? Почему здесь? Как добраться до дома? Нет ли такси? Сунул руку в карман — ни копейки. И я вспомнил: когда вышел с работы, карман был пуст, поэтому домой пошел пешком, и тогда меня нагнал Кадыралы на своей голубой «Волге» и повез в аэропорт, на эти проводы, на эту пьянку. А где же Кадыралы? Как он добрался до дому? Ничего не могу припомнить... Я ведь стоял, обнявшись, с тем тощим, тот все уныло гундосил: «Ох, мой желудок... когда сильно выпью — не болит. Но завтра — ох, даст прикурить... Как ты думаешь, наш Джумаш Сакиевич хороший человек?.. Конечно хороший, а я не смог его проводить как надо, как другие... Сотню еле наскреб. Но он хороший человек, он же знает мое положение...» Кажется, я кивал ему, не помню. Куда потом девался этот тощий? А Кадыралы? Наверное, мы как-то разминулись.

Так я брел по темной пустынной улице и размышлял. До дому было далеко, и я опять вспомнил компанию в аэропорту. Вот так живут сильные. Справедливость покоряется силе, выполняет ее приказы. И я начал шагать шире и расправил плечи и выпятил грудь, почувствовал себя важным, будто я всего достиг, все у меня есть, и начала меня захлестывать какая-то непонятная гордость. Но причиной всему был остаток хмеля, и в глубине души я осознавал, что никакой я не сильный, не родился таким и стать не смог и как бы сегодня ни ерепенился, завтра сникну.

Домой пришел в час ночи. Жена давно легла, но не спала, свет горел. И тут я поймал себя на мысли, что ведь вот виноват перед женой, она ждет меня, дома нет ни копейки, она надеется, что достану денег, страдает, беспокоится обо мне, а я возвращаюсь без всякого чувства вины, наоборот, взбодренный выпивкой, приобщившийся к компании сильных, иду с каким-то

комплексом превосходства, с уверенностью, что нет у нее прав корить меня, требовать, выговаривать...

Лег в постель, а щеки пылают от стыда. Неужели я такой подонок?

Утром проснулся — головы не могу поднять. Все, что было вчера, сегодня воспринимается по-другому, нет в нем ничего завидного. И я уткнулся в подушку.

Передохнув у ручья, я двинулся к плоской вершине. Конечно, я поленился идти до конца долины Туюк-Тор, не пошел тем путем, которым ходят охотники, не захотел подниматься по протоптанной тропе. Я решил взять гору в лоб. Конечно, склон крутоват, но доступен, налегке забраться можно. Пусть немного помучаюсь, но хоть раз не пойду торной дорожкой, хоть раз проложу свою. Усмехнувшись, я начал крутой подъем.

Гнедой остался далеко внизу. Тайган, видно по всему, не одобрил моего маршрута, бежал неохотно, обогнав, садился передо мной на камень, ждал, пропускал вперед, а потом, через некоторое время неспешно догонял.

В груди кололо, подъем был тяжел, в ногах быстро накапливалась усталость. Я понимал, что совершил ошибку, но заупрямился. Солнце перевалило за полдень. Пока доберусь до лысины, начнет вечереть... Я решил не думать ни об усталости, ни о своем нелепом маршруте, а то будет еще труднее.

Попадались разрытые медведем норы сурков. А что если встречу медведя? Но даже такие мысли меня не отвлекали, не давали хоть на миг забыться, ноги подгибались, сердце готово было выскочить. Через некоторое время оглянулся. Оказалось, я пошел вкось, гнедой был не прямо внизу, а значительно правее. Заранее намеченная скала осталась в стороне, я шел к другим. Они тоже

показались мне вполне доступными. А все-таки та скала была лучше... Но стоит ли из-за этого возвращаться? И я продолжил путь к другим скалам. Вскоре я добрался до них, они были не очень высоки, но круты и между ними зияли щели, которые, казалось, нетрудно перепрыгнуть. Худшее было в другом: самый подход к скалам был покрыт осыпью. Камешки легко текли. На метр подымешься, на два оттащит вниз. Я осторожно на четвереньках полез вверх. Со стороны выглядел, вероятно, довольно смешно. Не знаю, смеялся ли Тайган, но уж, наверное, удивлялся, внимательно наблюдая, как я «преодолевал препятствие». Когда же я, весь трясясь, в изнеможении добрался, наконец, до скалы, Тайган в два-три прыжка выскочил ко мне, будто, говоря: «Вот как надо, смотри, несчастный!»

Здесь я хорошенько отдохнул. Все же высота немалая. Вон невдалеке Кызыл-Таш, когда смотришь снизу — шапка слетает, а сейчас вершина под ногами. Те беркуты, которые несли архара, прошли на этом уровне. Ветры здесь гонят песчинки и обдирают скалы, как рашпилем.

До желанной вершины оставалось немного. Обходя щели, я полез вверх. Вскоре скалы кончились, и перед глазами возникла большая расщелина с осыпающимся склоном. На той стороне расщелины высилась огромная гладкая скала. Вот те на! Такую скалу не то что человек, козел не возьмет. Я остановился, задумался. Мне тогда и в голову не могло прийти, что сам лезу в ловушку. Возвращаться не хотелось, я повнимательнее всмотрелся и увидел в конце расщелины у гладкой скалы проход. Пойду-ка по склону этой расщелины вверх к проходу, а там видно будет. Я сделал два шага вниз, осыпь тронулась, и меня поволокло. Душа ушла в пятки. Я вскочил. Пока освобождался от ружья и бинокля, которые давили и мешали, осыпь прошла еще метров десять. Откуда я знал, что эти чертовы камешки еле держатся? Стоя

на четвереньках, я осторожно огляделся и понял весь ужас моего положения. Если бы меня прокатило еще метров сто, быть бы мне на дне, куда, шумя, как ручьи, стекали камни. Я посмотрел по сторонам, но нигде не было никого, кто мог бы прийти мне на помощь. Тайган сидел у самого края осыпи, там, где я на нее ступил. Казалось, он продолжал смеяться надо мной. Нас разделяло метров тридцать — это на столько я съехал за один шаг. Я знал, что от крика может не только сойти снежная лавина, но и двинуться каменная осыпь; знал, что вокруг нет ни души. И все-таки мне хотелось кричать, звать на помощь. Когда у человека нет сил — ему остается стон, когда нет выхода — остается крик. Меня прошиб холодный пот. Ветер гудел в горячих скалах. Не было видно ни птиц, ни мух, ни кузнечиков. Первозданная дикая красота, которая вчера меня восхищала, сегодня пугала до смерти. Над головой лишь солнце, а вокруг камни, камни, камни. И среди них — на четвереньках, потерянный, испуганный, ожидающий чуда маленький человек — я...

Где они, мои мечтания, мои философские размышления о жизни, пришли бы сейчас, если помочь не могут, то хоть развлекли бы. Но их нет, улетели. Лишь Тайган, благородная моя собака, пришел на помощь. Сначала, когда я услышал шорох и увидел, что он направляется ко мне, испугался: ведь сорвет осыпь! Но Тайган был умней. Осторожно ступая по самой кромке осыпи, он подошел близко и смотрел мне прямо в глаза, силясь объяснить свое желание помочь. Глядя на него с надеждой и с мольбой, я стоял перед ним на четвереньках.

С того дня прошло три года.

Хоть и родился и вырос я в этом аиле, а не стал своим. Ни знания мои, ни профессия аилу были не нужны. Ни в учителя, ни в трактористы я тоже не годился. В аиле ко мне относились с уважением, старались устроить. Предложили работать учетчиком в полеводческой бригаде. Но и с этим не справился. Всем я надоел, руки у меня опустились. Что ты за мужчина, если не можешь семью прокормить, к чему твое образование, если не способен к работе? Нет, сказал я, пусть уж снова буду плестись в хвосте, пусть буду глотать пыль идущих впереди, но надо возвращаться в город.

И мы переехали в город. Жизнь велика и просторна. Хватило в ней места и для меня: я снова нашел работу и снова нашел квартиру. Поискав на свою голову приключений, я начал жизнь сначала.

А этим летом получил путевку в санаторий. И вот я у озера...

Вчера произошла неожиданная встреча. Я вышел из воды и медленно брел по горячему песку. Вдруг лицом к лицу столкнулся с молодой, очень привлекательной женщиной. Она выделялась на пляже белизной тела. «Только что приехала,— подумал я,— вполне стоящая красотка...» И тут же что-то толкнуло меня в сердце: «Она! Ну, конечно, она!» Я смотрел ей вслед. Женщина быстро оглянулась, взгляды наши встретились. Она тоже меня узнала, глаза ее заблестели, она замешкалась, но загорелый стройный джигит, который шел вместе с ней, поторопил:

— Пойдем, пойдем, не бойся, вода не холодная.

Я застыл на месте. Оглянуться еще раз она не решилась, хотя я был уверен, глядя на ослепительную белую спину, что ей очень хочется это сделать.

Я разволновался и, не в силах оторвать взгляда от женщины, сел где стоял. Боже, я и не мечтал об этой встрече. Ее детский образ с белыми бантиками в косичках лишь иногда навещал меня...

Джигит, взяв ее за руку, повел в воду. Женщина, видно, тоже была взволнована, она бросала стремительные взгляды на берег, искала меня и, чтобы не выдать себя, своего состояния, громко смеялась и разговаривала с джигитом. Слов я не разбирал, а смех ее звучал в моей душе. Джигит увлекал ее на глубину, она поддавалась и старалась улучить момент, чтобы оглянуться. «Не забыла! Помнит!» — думал я и слышал, как бьется сердце. Скорей бы уж выходила из воды! Женщина, видно, тоже хотела скорее на берег, но боялась обидеть своего джигита. Она обняла его за шею, зашла по грудь и, задыхаясь от прохладной воды, все смеялась, смеялась и не смотрела больше на берег, не искала меня глазами... Может, она и не узнала меня, может, я все это выдумал?

Салима! Салима! Ты ли это? Мы сидели с тобой в шестом классе за одной партой. Хорошенькая девочка с белыми бантами в косичках, ты была похожа на порхающую бабочку. Мы дружили, а ребята дразнили нас женихом и невестой, и мы стыдились этого, особенно я. Непонятное чувство согревало наши сердца. Может, то была любовь? Салима... Ты ли это, Салима? Ты была резвой открытой девочкой с большими глазами и всегда — смеялась ты или плакала, а я помню, один раз ты плакала — всегда была красивой. Я же был застенчивым, скрытным мальчиком, я прятал свои чувства даже от тебя. «Он любит Салиму!» — кричали мальчишки. Я больше всего на свете боялся этого слова: «любит». И однажды, не выдержав, решил избавиться от бесконечной пытки, разом все пресечь и наговорил тебе при мальчишках каких-то резкостей. Ты застыла с широко раскрытыми глазами и вдруг заплакала. Вспоминая это,

я готов теперь провалиться сквозь землю. Тогда я долго просидел один на пустынной дороге, сидел, пока все не разошлись. Не помню, встречались мы с тобой после того или нет. Но помню, что не хотел встречаться, боялся встречи, не хотел признать вины. Вскоре у тебя был день рождения и ты пригласила меня. Я не знал, что тебе подарить. Ты нравилась моей матери, она часто видела, как мы, делая уроки, сидели рядом, и, склонившись над одной книгой, касались головами. Мать сделала из лучин и разноцветных ниток красивую куклу. «Возьми, отнеси Салиме». Но я постеснялся ее отнести. А потом вы уехали. Перед отъездом ты зашла к нам попрощаться, но меня не застала. Когда я вернулся домой, мать сказала, что вы уезжаете. «А ты даже куклу ей не отнес», — добавила с укором. Я испугался. Схватив куклу, выскочил из дому... и увидел в конце улицы машину с вашими вещами. В кузове на вещах сидела ты с отцом. Я во весь дух погнался за вами, да где там — задохнулся и остановился в клубах пыли... Ты ли это, Салима?

Сердце заколотило. Солнце палило нещадно, и я решил искупаться. Но сразу передумал. Зачем ее стеснять. Я поднялся и перешел под грибок. В это время она пошла к берегу. Я быстро встал, она заметила... и направилась к другому грибку. В былые времена, увидев меня, кричала «подожди!» и смело подбегала, вся легкая, сияющая, в белом фартучке и с белыми бантами в косичках. Ну зачем она так, с досадой думал я тогда, ведь ребята опять будут смеяться, опять будут кричать: «Он любит Салиму!»

Сейчас, хоть меня и задело, что она сразу не пошла ко мне, я был благодарен ей за скромность и женский такт.

Она села в тени, и я решительно подошел к ней. Сердце колотилось, во рту пересохло.

— Здравствуй... Салима... — еле выговорил я.

Она сидела, поджав ноги, укрывшись большим полотенцем, и выжимала волосы, большой тяжелый узел черных волос. Она ждала меня и не стала притворяться, будто не узнала.

— Ты? — И осторожно перевела взгляд на озеро. Я проследил ее взгляд. Загорелый джигит плыл от берега, нас не видел.

— Как... дела?.. — проговорил я.

Она поняла мое состояние. Столько лет не виделись! Оказывается, нелегко начать даже самый поверхностный простой разговор. Поводов для объятий и восторгов не было. Нужны были обычные слова, а я не мог их найти. Салима пришла на помощь. В моей памяти она была бойкой большеглазой девочкой с белыми бантами, и только сейчас я увидел, какой она стала волевой и сдержанной женщиной. Взволнованная не меньше меня, внешне она была совершенно спокойна, будто никогда ничего не было между нами.

— Где работаешь? — спросила она, будто мы только что познакомились, но я на нее не обиделся, наоборот, был благодарен ей за спокойный тон, за начало разговора.

Салима, оказывается, давно замужем, тот загорелый джигит — ее муж, он отдыхает в нашем санатории. Живут они в Пржевальске, там она окончила пединститут, у них двое детей. Сейчас она в городе, а сюда приехала навестить мужа.

— И скоро уедешь?

— Завтра.

Оба мы печально смотрели на озеро. Муж ее плыл к берегу. Салима задвигалась, будто усаживаясь поудобнее. Я встал. «Муж у тебя, наверное, ревнивый?» — чуть не сорвалось у меня с языка, но я вовремя спохватился. Спрашивать такое у Салимы — просто пошло.

Вечером я увидел ее в столовой. Столы наши, оказывается, были недалеко, просто мужа ее я раньше не

замечал. Он что-то доказывал Салиме. Она почти не отвечала, кивала, может быть, невпопад. После ужина я не стал ее искать, ушел к себе и пролежал весь вечер.

В ту ночь мне долго не спалось. Чего только не лезло в голову, вся жизнь прошла перед глазами. Мысли мои спорили, и мне не хотелось их примирять.

«Почему я такой слабый, нерешительный? Таким родился или таким стал? Боялся насмешек товарищей и лишился из-за этого самого дорогого в отрочестве — Салимы. Ребята смеялись, но ведь для них она была чужой... А я счастье своими руками оттолкнул...» Так за меня говорило сердце.

«Ты от природы такой, ты рожден таким. Ты трус и беглец. По окончании института далеко не всем удалось остаться в городе. Тебе посчастливилось, тебя оставили. Но ты не смог бороться за жизнь, не выдержал, сбежал в аил». — Так говорила голова.

«Да, я сбежал в аил, но ведь не от жизни сбежал, а от карьеризма, приспособленчества, подхалимства»,— оправдывалось за меня сердце.

«Это все пустая болтовня. Вспомни, кем ты себя считал после института: ты думал, будто ты один чистенький и пришел в этот мир, чтобы всех осчастливить своей чистотой. Но вскоре ты увидел, что по земле торжествуя ходят такие, как Кадыралы, а ты был куда слабее, ты не мог с ними бороться, не осмелился признать свою слабость, спасовал, обманул себя, мол, в аиле найду свою планиду, и позорно сбежал. Разве не так?»

«Так, наверное, так. И все-таки, хоть ты мне, может быть, и не поверишь, но я пришел в эту жизнь не для того, чтобы брюхо набивать...»

«Это старые словеса,— перебила голова,— ты лучше скажи: убежал оттого, что слаб?»

«Нет, оттого, что презирал таких, как Кадыралы...»

«О, опять хочешь вознестись к небесам, все еще обманываешь самого себя, боишься признать поражение. Слушай: Кадыралы, чтобы достичь своей цели, применил хитрость и изворотливость. Он выиграл. Таких называют сильными. А ты, который хотел очистить мир от ему подобных, ничего не сделал и проиграл. Быть побежденным в неравной борьбе почетно, но ведь ты не боролся, ты убежал».

Увы, сердце мое ничего не смогло ответить. А голова продолжала наступление:

«Ты приехал в родной аил. А что ты там нашел? Ничего! Ты думал, в аиле только и делают, что наслаждаются чистым воздухом, тишиной и покоем? Оказалось, и там жизнь, и там борьба, а ты там был лишний. Однажды ты пренебрег дорогой, которой охотники пользовались веками, и твоими никудышными силами вздумал проложить в скалах свой путь! Что из этого вышло?»

«О нет, голова, ты что-то перегибаешь. Да, я промахнулся, но разве искать новый путь так уж плохо?»

«А то, что ты чуть не погиб в скалах, это хорошо?»

«Можно и погибнуть. Поиск — это борьба. Один погибает, другой идет вслед и находит».

«...Погибает и молится перед смертью на собаку?..»

«Ах, голова, не надо так поддевать. Хоть ты и голова, а не все понимаешь. Ведь борьба таких, как Кадыралы, это не борьба, а существование».

«Но ведь он — сильный. Ты сам это признал. Помнишь аэропорт? Ты хотел стать таким, как он».

«Жулика я называл сильным».

«А помнишь двух беркутов, которые несли архара? Как, они сильные?»

«Да, я ими восхищался, они царили в высоте».

«Но разве это справедливо? Они тащили безвинного архара!..»

«Кадыралы — хищник, волк, он никого не пощадит, а беркуты — благородные птицы, они взяли одного, столько, сколько нужно, чтобы поесть».

«Мягкий ты, снисходительный и пассивный. Потерял Салиму...»

Утром Салима уезжала. Муж пошел провожать ее на автостанцию. Я не знал, как быть, мучался, что так и не смогу поговорить с ней толком, и машинально брел вслед за ними. Салима заметила меня, но не подала виду. Я держался на приличном расстоянии.

На автостанции было много народу, это позволило мне подойти поближе, к самому автобусу. Салима уже села. Автобус наполнился. Муж, видно, был хозяйственный, он подошел к окну и спешно давал Салиме многочисленные наставления. Водитель сел за руль и посигналил. Я не выдержал и втиснулся в автобус.

Мы поехали. Муж остался. Салима начала тревожно оглядывать толпу за окном. «Наверное, меня ищет»,— подумал я и на душе потеплело. Кое-как я пробрался к ней, встал за ее спиной, тронул за плечо. Она резко обернулась, обрадовалась, засмеялась:

— А я думала, ты остался, не соизволил попрощаться.

«Не соизволил!» — это было слово той большеглазой девочки, но теперь в нем чувствовалась еще и ирония сегодняшней Салимы.

— Однажды не попрощался — потерял на пятнадцать лет. Если сейчас не попрощаюсь, увижу ли когда-нибудь еще?

— Ты сам... — сказала она печально.

После этих слов, после этого тона — вчера она была сдержанна, корректна и умеренно любезна — после этого признания — да, я готов был увидеть в этих сло-

вах признание! — мне вдруг захотелось схватить ее, прижать к моему колотящемуся сердцу и расцеловать... Но вокруг столько народу...

Салима. И без поцелуя нет на свете человека ближе мне, чем Салима. И вот я стоял рядом с ней, с ней единственной, и был счастлив, что стою рядом, тлеющая любовь моего отрочества вспыхнула, и я, согретый этим огнем, чувствовал радость полноты жизни. Но думая о тех далеких годах, когда мы, взявшись за руки, бегали и смеялись, я силился вспомнить, говорил ли я ей в глаза что-нибудь доброе, теплое, и не мог ничего припомнить, и терзался...

— Куда ж ты едешь? — спросила Салима.

— Никуда, просто хотел спокойно посидеть с тобой, поговорить.

— Поговорить... О чем? Что было, то ушло. Не вернешь. — Салима глядела перед собой.

— Я знаю, я хотел только поговорить...

Она слегка улыбнулась, покачала головой.

— Не надо. Зачем зря мучать себя?

Автобус начал пустеть, освободилось место рядом с Салимой. Я сел. Теперь я касался ее тела, и меня бросало в жар. Я понял, что всю жизнь тосковал без Салимы. Скорое расставание представлялось катастрофой.

Проехали полпути. Была объявлена пятнадцатиминутная остановка, все пошли в столовую. Мы немного перекусили и стали в тени. Дальше ехать неудобно, подумал я.

Салима, такая близкая Салима, ушла безвозвратно и стала такой далекой...

Автобус посигналил. Мы обменялись адресами. И тут я задохнулся от мысли, что сейчас, прямо сейчас оборвется последняя нить... Язык одеревенел.

— Салима... останься,— только и смог я проговорить.

Она засмеялась.

— Ты не изменился. — И протянула руку. Я взял ее за руку и потянул к себе, чтобы обнять.

— Не надо,— сказала она,— пусть этого не будет...

Мы вышли из-под деревьев и распрощались. Она не хотела, чтобы я провожал ее до автобуса.

Так уехала Салима. Я остался на дороге один. Вокруг было много народу, но мне казалось, что стою один, один в пустыне.

В санаторий вернулся поздно. Настроение было — хоть вешайся. Я выпил. С гор подул ветер, потянулись лохматые тучи. Перед сном я решил искупаться.

Недалеко от берега заметил белую лодку. Как она там оказалась, ведь их привязывают? Может, ее оторвало? Я решил пригнать ее и привязать. Она качалась в каких-нибудь двадцати метрах. Пока я разделся, ее унесло еще метров на десять. Я поплыл. Волны откатывались от берега, догоняли меня, подхватывали и несли на своих упругих спинах. Когда волна поднимала меня, я увидел лодку, она была похожа на упавшее в море крыло белой птицы.

Прохладная вода отрезвила меня, я пришел в себя и понял, что до лодки мне не добраться. Буду вот так гнаться за ней и не вернусь назад. Оглянулся. До берега было уже далеко. Волны бросали меня, как щепку. Я поплыл назад. Когда волны бьют в лицо, с ними бороться очень трудно. Отяжелели руки и ноги. Попробовал передохнуть и почувствовал, как волны тащат меня в открытые просторы озера. Стало страшно. Конечно, надо плыть не прямо против волн, а под углом, так легче, я вспомнил, что в горах иду не прямо по склону, а вкось, чтобы уменьшить крутизну. И я медленно поплыл к качающимся на берегу фонарям.

Наконец выполз на песок и упал в изнеможении. Отдышавшись, оглянулся и поискал глазами лодку, она чуть мелькала вдалеке, таяла в темноте, но все еще была похожа на сломанное белое крыло.

1968 г.



СКАКУН КЫЛЫЧБЕКА

С того момента, как скакунов погнали на старт, Кылычбека захлестнула волна неизъяснимой радости. Будто кто-то шептал ему на ухо: «Уж на этот раз победит Айгашка!» И сердце старика начинало гулко колотиться. Он оглядывался и еще дальше отходил от толпы: как бы невзначай не обронить такие мысли.

Долго не появлялись кони. Но Кылычбек неотрывно, до боли в глазах смотрел на дорогу. Она темной полосой уходила вдаль. И когда из-за нижнего холма, из-за поворота вырвался первый конь, Кылычбека будто подкинуло.

— Айгашка! — не выдержав, заорал он и ринулся навстречу. — О бог милосердный, одари меня счастьем хоть раз в жизни!

Но это был знаменитый Суркоен Осмона. Опять,

опять победил Суркоен. Когда старик это понял, он внезапно остановился, будто налетел на невидимую стену. Вслед за Суркоеном промчались еще два коня! Кылычбек растерялся. Ему даже почудилось, будто Айгашка пришел раньше всех, впереди Суркоена. Просто он, старик, устал от напряжения и прозевал... Снова затеплилась надежда. «Дай бог, чтобы это было так»,— подумал он и осторожно, со страхом повернулся. На финише — столпотворение, но Айгашки там не было.

Пока Кылычбек собирался с мыслями, прошли еще четыре коня. А всего — семь. Семь призов... И вот показался Айгашка. Он шел восьмым.

— Нет в этом мире справедливости! — со стоном выдохнул старик.

Вот уже два года, как на всех скачках пускает Кылычбек своего Айгашку. Но ни разу не пришел его конь первым. После скачек старик ехал домой печальный, понурый. Он даже забыл, какое это счастье, когда конь побеждает на скачках!

В давние молодые годы у Кылычбека был другой конь — Ак-Байпак[1]. Он много раз выходил победителем... А ведь Айгашка ничуть не хуже Ак-Байпака! Мать Айгашки, белолобую гнедую кобылу с большим животом, старик купил несколько лет назад. Он выбрал ее из косяка племенного темно-рыжего жеребца, знаменитого своей чистопородностью и легким бегом. Айгашка всеми статьями вышел в отца. Но в беге — нет, не дотягивал.

Заядлый саяпкер[2] Осмон, тот самый Осмон, который со своим Суркоеном никому не уступает первенства, в прошлый раз, посмотрев, как Айгашка легко пришел к финишу, покачал головой и сказал:

— Ай-яй-яй! Какой конь! Жалко коня!.. Обижаешь коня!..

---

[1] Ак-Байпак — Белоногий.

[2] Саяпкер — специалист по тренировке скакунов, берейтор.

Бедный Кылычбек, униженно ссутулившись, держал повод Айгашки и боялся поднять глаза на людей. Но, услыхав эти слова, уставился на Осмона исподлобья и всем своим существом молил: «Ну скажи, скажи, как?..» А спросить при людях не решился. Хитрый Осмон больше ни слова не проронил. Так и уехал.

«Насмехается надо мной»,— думал Кылычбек. Но и сам он в глубине души понимал: Айгашка — конь добрый, сильный, конь что надо, а все дело в нем, в Кылычбеке — не так он тренирует коня, не так ухаживает. А как? «Моя вина, гублю Айгашку»,— говаривал он себе с болью в сердце. Но как узнать секреты? Ничего не говорит Осмон. И в этом вся печаль Кылычбека.

Каждый раз, когда проигрывает Айгашка, добавляется седина в бороде старика, еще больше горбится его спина. Зачем ему сам приз? Он согласился бы не брать этот приз, лишь бы честь ему принес его конь! Хотя бы раз! И тогда все горе, все насмешки, что безответно терпел он от людей, были бы смыты. Он ходил бы гордо, с высоко поднятой головой. Но судьба не жалует его. И Кылычбек в обиде на нее. А когда, бывает, старики сойдутся в круг и начинают вспоминать о каком-нибудь тое[1],о скачках, скакунах, Кылычбек обязательно подымется с места и, старательно отряхивая полы своего чепкена[2], уйдет под каким-нибудь выдуманным предлогом. Бывает, он видит: стоят два-три человека, и ему вечно кажется, что говорят об Айгашке и посмеиваются над его хозяином. О чем бы ни говорил его собеседник, Кылычбек всегда настороже: как бы тот не вспомнил Айгашку.

Но если бы только эти мучения! Нет, самые страшные насмешки терпит он от собственного сына.

---

[1] Той — пир, праздник.

[2] Чепкен — суконный халат без подкладки.

Больше года Сарыбек строит новый дом. Кылычбек еще в самом начале был против этой затеи. Как только услыхал разговор про дом, сразу забеспокоился.

— А это тебе что, не дом? Может, этот дом тебя выгоняет?

— Да ты, отец, оглянись, посмотри на людей,— говорил Сарыбек,— все строятся. Дома высокие, красивые. А мы все в старой землянке ютимся.

— Ну уж в землянке... Это дом! Счастливый дом! Ты в нем родился, в нем вырос, счастье свое нашел.

— Ах, отец,— не сдавался Сарыбек,— человек стареет, а дом и подавно. Вон стена покосилась. Шелудивая кляча об угол потрется — и дом твой рухнет.

— Что ты, боже упаси!

Но Сарыбек не отступил. Отец всю жизнь мечтал иметь побольше скота, а настойчивый сын прошлой зимой продал кобылу с жеребенком, вола да еще пять баранов и купил лесу на дом. Как пришла весна, нанял людей, они сделали саман, вывели стены. Оставалась крыша. А железа на крышу не было. В городе у спекулянтов можно было бы, конечно, достать, но деньги!.. Корову не продашь — не оставлять же семью без молока. За овец много не возьмешь, да и сколько их во дворе осталось-то! И Сарыбек нацелился на Айгашку.

Кылычбек и тогда обиделся на сына, за то что тот продал столько скота. Но махнул на все рукой. А теперь, когда ненасытные руки Сарыбека потянулись к его дорогому Айгашке, старик рассвирепел.

— Да ты что?! Оставил меня без скота, а теперь вздумал забрать и Айгашку? Пропади ты пропадом со своим домом!

«Пора бы старику разочароваться в своем скакуне»,— еще раньше подумывал Сарыбек. А теперь, услышав отказ, ожесточился. Каждый раз, как проигрывает Айгашка, сын дразнит отца, смеется над ним, как над ребенком. «Эта кляча только зря корм ест. Ей и осла не

обогнать. Людей стыдно...» Что старику ответить? Он никнет головой.

Вот и теперь с тяжелым сердцем едет он домой. Досада клонит голову. Уйти бы куда-нибудь подальше, чтобы не слышать насмешек Сарыбека! Но он не в силах повернуть коня.

Вечерами, бывает, заложив руки за спину, прохаживается Кылычбек вокруг своего дома.

На краю земляной крыши стог клевера. Вся крыша заросла травой. Карнизы изрыты курами, земля осыпается. Глинобитные стены не оштукатурены... И все-таки мил его сердцу этот дом, е г о дом.

Плотью и кровью связан с ним Кылычбек.

Старик идет дальше и входит в дом сына. Еще немного, и он будет достроен. Какой дворец! Высота! Простор! Кылычбек стоит посреди комнаты и оглядывается. Ему даже становится страшновато, будто он один в пустой долине. Он чувствует одиночество. Кричит—отвечает гулкое эхо. Старик расчесывает бороду пальцами, вздыхает: «Ах, покарал бы тебя господь! Что толку в этой роскоши? Ведь не даст твой дом молока и не побежит на скачках. Уж куда лучше в моем доме, хоть и старом, но милом! Он мне счастье приносил. А из-за этих вот стен все пошло прахом...»

Кылычбек возвращается к своему дому. Возле него один к одному стоят пять стройных тополей. Их посадил Сарыбек. Это было еще в те времена, когда Кылычбек заведовал овцефермой и блаженствовал с семьей на джайлоо. Сарыбек тогда ходил в школу и жил в аиле с бабушкой. Теперь все тополя окрепли, устремились в небо.

Старик постоит, посмотрит на шумящие верхушки, а потом садится на большой холодный камень, который лежит у порога. Он сам прикатил его, когда строил дом.

На камне лежит старая шкура. Кылычбек вечерами сидит на ней, нахохлившись, как коршун.

Когда с пастбища пригоняют скот, старик загоняет овец в сарай, а корову привязывает к первому тополю. К тому времени из школы приходит внук. Он приводит теленка, который пасется в огороде. Теленка привязывают ко второму тополю. И все. Остальные места свободны. А раньше к этим трем тополям привязывали кобылу с жеребенком и двухлетку. Теперь их нет. Пропали из-за проклятого дома! Старик окидывает дом злым взглядом, вздыхает и идет к своему Айгашке, который пасется внизу, у речки.

Ясли для Айгашки отдельные, прямо под окном. Это не потому, что нет места с остальными животными, а чтобы, сидя дома, всегда видеть коня. Глупый Айгашка! Не понимает, какой ему почет. Уже несколько раз выдавил мордой стекла. На Кылычбека — новые насмешки и упреки. Но он не досадует. С нежностью гладит он лоб дорогого скакуна, очищает хвост от репьев.

Он подолгу вглядывается в глаза Айгашки, пытаясь уловить в них признаки какой-то болезни, ощупывает ноги, спину, зачем-то разглаживает гриву.

«Нет, конь здоров!» — думает Кылычбек. И произносит вслух: — «Никаких болячек!»

Айгашка, услышав голос, перестает жевать. Не поднимая головы, он фыркает, будто говорит: «Далась тебе болячка!.. Это твое саяпкерство...» Он мотает головой и начинает выискивать губами вкусные листочки клевера.

Набегают сумерки. Затихает многоголосый шум детей и скота. Сноха со старухой занимаются стряпней. А Кылычбек, глядя на гладкий круп коня, погружается в сладкие думы.

...Эх, споткнулся бы Суркоен, сломал бы себе ногу, сдох бы на дороге и не отнимал бы счастье у других скакунов! Пришел бы Айгашка первым, прилетел бы как стрела, распластав по ветру хвост и гриву! Провел бы его Кылычбек мимо восхищенно глазеющих людей!..

Улыбаясь, старик вдруг говорит вслух:

— Если бы бог одарил меня таким счастьем! — И приходит в себя от звука собственного голоса.

Он смотрит по сторонам. Уже совсем темно. Прохладно. Не зазяб ли конь? И Кылычбек бережно укрывает Айгашку попоной.

Сарыбек вернулся поздно.

Кылычбек сидел, вытянув ноги, и подшивал куюшкан [1]. Сын с укором глянул на него и сел ужинать. Он ждал, чтобы кто-нибудь из домашних заговорил. Но все молчали. Каждый был занят своим делом и не обращал на него внимания. Сарыбек не выдержал и зло спросил:

— Для кого ж ты теперь подшиваешь куюшкан?

Старик поднял удивленные глаза.

— Для какого коня стараешься? — голос Сарыбека прозвучал тоскливо и в то же время злорадно.

— А что?..

— А то, что с Айгашкой скоро расстанешься... Колхоз отбирает.

Кылычбек выронил шило.

— Ты в себе?..

— Я-то здоров, а вот ты!.. — Сарыбек заговорил резко. — Сколько раз я тебя упрашивал продать коня? Не хотел? Колхоз упрашивать не станет.

Кылычбек ничего не понимал.

— Ты расскажи спокойно...

Сарыбек сбавил тон.

---

[1] К у ю ш к а н — подхвостный ремень.

— Не только твоего Айгашку — всех личных коней решили закупить.

— Решили! — зло передразнил старик. — Какие умные! Захотели — и решили! Кто это согласится отдать своего коня?

— А кто его станет спрашивать? — тихо и веско проговорил Сарыбек.

Старик осекся.

— Да ты хоть объясни толком, что случилось?

Сарыбек объяснил: — Колхоз не выполнил план по сдаче мяса государству и теперь вынужден скупать у колхозников личный скот.

Кылычбек, уронив голову, молчал.

Старик не мог понять, утро это было или вечер. С улицы донесся громкий топот и ржанье коня. Кылычбек ждал чего-то страшного и поэтому сразу вскочил и выбежал во двор. Айгашка убегал вниз, мотая головой. Его догонял Сарыбек. В одной руке у него была уздечка, в другой — длинный укрук[1]. Старик вскрикнул. Но голоса своего не услышал. А чуткий конь, видно, услышал, остановился, повел ушами и кинулся к хозяину. Сарыбек бросился наперерез. Он притаился, выждал, когда Айгашка перепрыгнет через арык, и накинул на его шею укрук. Конь задергался, запрыгал, заливисто заржал и грохнулся наземь. Он лежал на спине, отчаянно перебирая ногами, но не мог встать. Кылычбек, задыхаясь, бежал, кричал, махал руками... Но голос его был не слышен. Потом он зазвучал вдруг так сильно, что Кылычбек вздрогнул и проснулся.

Он лежал в холодном поту. Сердце гулко колотилось. Собрав силы, он спешно поднялся, сунул ноги в калоши, накинул чепкен, вышел во двор...

Айгашка на месте. Он мирно дремал, целый и невредимый.

---

[1] У к р у к — жердь с петлей на конце для ловли лошадей.

Посвежело. Видно, в горах выпал снег. Коню вроде бы зябко. Он ласково тычет мордой в руки Кылычбека, будто говорит: «Не печалься, все в порядке».

— О золотце ты мое! — не выдерживает Кылычбек.— Неужели тебя заберут? Неужели такова наша судьба? — Он обнимает коня за шею, прижимается к гриве... Несет крепким конским потом. Старик будто соскучился по этому запаху, жадно вдыхает его и долго стоит, беспомощный, расслабленный...

«А что если эта злая весть — просто выдумка Сарыбека? Захотел забрать у меня Айгашку, вот и придумал... А может, и правда. Узнать бы, как в других колхозах...»

Кылычбеку не вынести неизвестности. И как только из-за гор показалось солнце, он уехал к дочери в соседний колхоз.

Старик в доме дочери пил чай, когда пришел Осмон. Кылычбек обрадовался, увидев нужного человека, он даже вскочил, чтобы освободить для Осмона почетное место.

— Проходи, Осоке. Садись. Как жив-здоров?

— Слава богу. А вы как?

— Мы тоже. А душа твоя чиста — застал нас за достархоном[1].

— Богом, значит, суждено... — Осмон вежливо принял поднесенную ему пиалу. — Иду мимо, гляжу: около ворот твой Айгашка. Откуда, думаю, он взялся? Дай зайду, разузнаю...

Кылычбек гордо расправил плечи. А Осмон вдруг оживился, вспомнил что-то важное.

— Ты, наверное, знаешь, скоро будет большой той в Кара-Буure!

---

[1] Достархон — скатерть.

— Слыхал.

— Там будут большие скачки. Со всего Таласа соберут лучших скакунов. Ты готовишь Айгашку? Говорят, призов будет одиннадцать! Айгашка неплохой конь, я знаю. Ты смелее, не бойся.

Кылычбек хотел спросить о главном, ради чего приехал, но последние слова Осмона его задели.

— Чего мне бояться? А ты пустишь Суркоена?

— В том то и дело, что нет. — Осмон вздохнул.

— Что случилось?

— Это все мой глупый сын! Я поставил коня на выстойку. А мой дурак сел на него пьяный и поехал на козлодрание. И вот Суркоен прихрамывает: что с ногой — не пойму.

— Ай, жалко-жалко,— сокрушенно сказал Кылычбек. Но в глубине души он был рад, что такое случилось.

— Вот именно! — подтвердил Осмон и понурил голову. Он немного помолчал, а потом сказал тихо: — Твой Айгашка — настоящий скакун, сила! Но ты сам его губишь, не так тренируешь. Давай я подготовлю его к этим скачкам!

Кылычбек задумался. Ведь раньше Осмон скрывал тайны тренировки... Предложение его удивило и обрадовало. Он уже забыл неприятную новость, сообщенную Сарыбеком, и радостно подумал: «Хоть труд будет Осмона, но слава-то достанется мне».

Осмон по глазам Кылычбека угадал, что старик согласен. Он придвинулся ближе к Кылычбеку и еще тише заговорил:

— Для тебя стараюсь, пойми! Не подведет Айгашка! Я обещаю...

— А ты потом...

— Понимаю! Не беспокойся. Премию поделим пополам.

— Нет, я не о том,— Кылычбеку стало даже неловко за свое недоверие,— мне нужна только честь, а пре-

мию — он чуть было не сказал: «Возьми себе» — дели, как знаешь. Я тебе верю. Но все-таки...

— Так ты что ж, сомневаешься? — Осмон сгреб в кулак бороду. — Смотри, седая! Пусть бог меня покарает!..

После чая они вышли во двор и долго осматривали Айгашку, заходя то с той, то с этой стороны. Осмон щедро нахваливал коня, а Кылычбек блаженствовал. Наконец Кылычбек спросил, правда ли, что колхоз будет забирать коней. Нет, Осмон ничего не слыхал. И Кылычбек успокоился. Он передал повод Айгашки Осмону и сказал, что через два-три дня приедет повидаться с конем. А потом сел на трехлетку зятя и поехал домой.

Дома всех поразило, что старик вернулся без Айгашки. «Может, он в отчаянье продал коня?..»

— Где ты пропадал? — осторожно произнесла старуха.

— Зачем тебе знать?..

— А где оставил Айгашку? — спросил Сарыбек.

— Продал мяснику! — усмехнулся старик.

Никто ему не поверил. Но с расспросами больше не приставали.

Увидев во дворе коня зятя, Сарыбек понял, куда ездил отец, но не мог представить себе, как это старик оставил в чужих руках своего Айгашку, с которого ни днем, ни ночью не спускал глаз. «Может, он действительно, на зло мне, продал коня? Это на него похоже». И Сарыбек решил все узнать у зятя.

На другое утро он увидел, что отец собирается куда-то ехать.

— Что так рано? — поинтересовался он.

— Хочу поскорее привезти деньги за Айгашку! — издеваясь ответил Кылычбек и уехал.

Старик обещал Осмону навестить Айгашку через два-три дня. Но не выдержал и поехал на другой день.

Сарыбек был уверен, что отец вернется на Айгашке. Но старик и на этот раз приехал на чужом коне. Сарыбек, усмехаясь, спросил:

— Где же деньги за Айгашку?

— Отстань! — оборвал его Кылычбек.

Он так и не раскрыл своего секрета, не сказал, где Айгашка.

«Скорее бы скачки!» — этой мыслью жил старик. Ему даже казалось, что желанный день не приближается, а отдаляется. Осталась всего неделя. Она будет тянуться, как год! «Что-то будет?» Кылычбек был убежден, что на этот раз судьба улыбнется ему.

Скоро полдень. Там, где кончаются холмистые предгорья и начинается равнина — шум, гомон, выкрики. Все на конях — и стар, и мал. Иногда попадаются мальчики на ишаках. Скакуны дремлют в стороне. Они все покрыты попонами. Видны лишь уши да ноги. А на конях всадники — мальчики лет по двенадцати. Каждый думает: «Мой бегунец лучше всех». И каждый делает вид, что совсем не интересуется другими конями, и тайком поглядывает на соседей.

Среди скакунов нет лишь Айгашки. Кылычбек держит его в укрытии. Он боится, что люди слишком много будут глазеть... У Кылычбека такое чувство, что сегодняшний той проводится специально для него. И без того румяное лицо его сегодня пылает жаром.

Чтобы скрыть от Сарыбека участие Айгашки в скачках, Кылычбек не взял с собой внука, опытного наездника, привыкшего к Айгашке. Сегодня на нем поскачет тринадцатилетний племянник старика. Кылычбек боится за него, ведь мальчик не знает характера скакуна. Поэтому старик без устали твердит озябшему наезднику свои наставления. Иногда он вдруг озирается: как бы кто не подслушал! — и повторяет одни и те же слова.

Услышав топот, Кылычбек подумал, что коней уже погнали на старт. Он торопливо вывел коня из укрытия. Народ шумел возле холма. Старшина тоя, румяный, тучный человек на чубаром коне, стоял на вершине холма и громким басом объяснял условия скачек. Кылычбек внимательно слушал. Коней пустят с Кызыл-Джара — это километров сорок отсюда. Разыгрывается одиннадцать призов. Первый приз — конь с полным снаряжением и пятьдесят рублей. Неплохи и остальные призы... Когда старшина объявил условия, люди разъехались по своим местам.

А Кылычбек не мог двинуться с места. Он стоял, как зачарованный. В мыслях он уже держал за повод выигранного коня.

Старшина тоя рысью носился от одной группы к другой и записывал скакунов. Осмон включил в список Айгашку.

Тренеры отводили коней в стороны, срывали с них попоны, седлали и крепко завязывали хвосты в узлы.

Осмон долго не мог найти Кылычбека, пока сзади не услышал его голос. Кылычбек дергал старшину за рукав и о чем-то настойчиво упрашивал. Осмон подъехал к ним.

— Эй, Кылычбек, куда ты исчез?

— А? Это ты? Я того... Эй, аксакал, пожалуйста, запиши и моего коня,— тянул Кылычбек.

— Да я уже записал! — крикнул Осмон. — Где Айгашка?

Кылычбек растерялся.

— Что? Уже записал? Надо еще раз проверить...

— Шайтан тебя забери!

— Ну ладно... если записал, то ладно. Поскорей, другие уже готовы... — И тут же спросил. — А на чье имя ты записал?

— На твое, на твое! Ну что ты за человек?! — крикнул Осмон.

Скакунов погнали на старт. Их сорок три. Все поджарые, стройные, чуткие, как джейраны, ноги у них легкие, как у борзых. Одни, навострив уши, идут игриво, фыркают, а другие шагают спокойно и искоса поглядывают на спутников, будто присматриваются и оценивают их возможности.

Айгашка, вскинув голову, грызет удила. По телу его пробегает мелкая дрожь. Кылычбек не отрывал глаз от крупа Айгашки. Когда скакуны скрылись из виду, он продолжал неподвижно сидеть, не моргая смотреть вдаль. Глаза от усталости затуманились, он протер их и тихонько спросил у Осмона:

— Осоке, которым его записали?

— Семнадцатым.

— Ай, жаль... Надо было чуть пораньше...

Осмон не выдержал:

— Ты что гнусавишь? Конь твой вышел на светлый путь! Ну что ты за человек?

«Конечно, он прав»,— думал Кылычбек и корил себя за недоверие к Осмону и просил прощения у бога.

Зрители двинулись на нижнюю поляну.

Облака сплошь заволокли небо. Дует прохладный ветерок. Самая хорошая погода для скачек.

Скакуны вернутся не скоро. А пока люди стали смотреть игры, козлодрание. Победители получат девять премий. Вышли молодые джигиты. Каждый ловок, силен, крепко держится в седле.

Кылычбек не смотрел на игру. Он видел себя, гордо ведущим на поводу Айгашку... Айгашка взял первый приз... Восторженные зрители смотрят на коня и на его хозяина...

Скакуны шли на старт бодро. Позади ехал человек, который даст команду. Ребята смотрели на дорогу, по которой предстоял трудный обратный путь.

Мальчик, которому доверили Айгашку, всего лишь однажды участвовал в скачках. Поэтому он волнуется больше всех. Он чувствует себя героем, едущим на битву, на подвиг! Сейчас он внимательно изучает дорогу. Об этом ему сто раз напоминал дедушка Кылычбек. Мальчик смотрит вперед и успокаивает себя: все хорошо. А сердце колотится быстро и громко. Он похож на борца, который вышел против слишком сильного противника и жалеет об этом; а отказаться уже нельзя — поздно! Он дрожит и от страха, и от холода. Лицо и руки посинели. Дрожь чувствует и конь. Чтобы скрыть свое волнение, мальчик стискивает зубы и непринужденно оглядывается.

Ноги ездока не сжимают боков Айгашки, и конь понимает, что мальчик сидит не крепко. Новостриж уши, Айгашка смотрит вперед, будто не доверяет мальчику и сам изучает дорогу. Иногда он поднимает уши — боится пропустить команду. Стоит кому-нибудь кашлянуть, и он уже готов повернуть и пуститься вскачь...

Как только все скакуны спустились в глубокое сухое русло, раздалась команда, и кони, толкая друг друга, мгновенно повернулись и ринулись назад. Поднялась пыль. Загудела земля. Айгашка развернулся и сразу взял такую скорость, что мальчик чуть не оказался на земле. Но он успел сильно натянуть узду, удержаться и повиснуть на поводьях, пока конь брал подъем. Айгашка был вынужден сбавить бег.

Два-три километра кони шли кучно. Потом некоторые начали отставать, и вскоре растянулись в длинную цепь.

Айгашка много потерял, пока выбирался из русла. Он шел четвертым, рядом с темно-рыжим конем, и старался наверстать упущенное. Но все-таки он бежал не в полную силу. Ему словно не хватало удара камчой. Мальчик иногда вскидывает камчу, но бьет не по крупу, а по животу. Айгашке от этого только больно. Он не

может растянуться, увеличить размаха скачков. Темно-рыжий конь не уходит вперед, бежит спокойно, ровно.

Но вот разогрелись тела обоих коней, и тот и другой вошли в азарт. Мальчик на темно-рыжем, припав к гриве, будто прирос к седлу, поводья держит свободно, бодрит коня криком и часто взмахивает камчой. У темно-рыжего прибывают силы, он убыстряет бег и на голову отрывается от Айгашки.

Айгашкин ездок болтается в седле. Он то хватается за гриву, то съезжает назад и натягивает повод, чтобы удержаться. Всякий раз Айгашке приходится сбавлять бег. И все-таки он не дает сопернику уйти вперед. Обливаясь потом, он мчится рядом с ним. И вот они одновременно догоняют карего коня. Карий не выдерживает их темпа и отстает. Впереди, метрах в ста, бежит гнедой жеребец. Айгашка и темно-рыжий понемногу приближаются к нему. Жеребец идет крупным шагом и, видно, не устает. Вот Айгашка и его соперник почти догнали жеребца. И вдруг ком земли, вылетевший из-под его копыта, угодил прямо в лоб айгашкиному седоку. В глазах мальчика потемнело. Он застонал, на миг потерял равновесие и натянул повод. Айгашка задрал голову и сразу отстал от соперника. Тот был уже впереди на полкорпуса. И потом Айгашка, как ни старался, не мог поравняться с ним.

Мальчик крепился не долго. У него болела голова, ветер резал глаза. Не выдержав, он заплакал; он хотел, чтобы Айгашка не бежал так быстро. Но притормозить его не мог. Он бросил поводья и обеими руками ухватился за луку седла. Только бы выдержать до финиша!

И хотя Айгашку никто не погонял и не подбадривал, он не сбивался с быстрого темпа и держался вплотную за темно-рыжим. Так они обогнали еще одного скакуна. Теперь темно-рыжий бежал первым, Айгашка — вторым. До финиша оставалось не больше пяти километров. На обочинах дороги стояли люди, их выкрики будто подсте-

гивали скакунов. Вот и широкий арык. Темно-рыжий, как птица, перелетел через него. Айгашка заметил арык поздновато. Он не рассчитал, споткнулся, и мальчик вылетел из седла. Айгашка жалобно заржал и глянул на мальчика, валявшегося на земле... Но сзади приближался топот, и конь ринулся вперед без седока.

Распластав по ветру тяжелую гриву, Айгашка летел за своим соперником. Ноздри его широко раздувались, он взмок, но усталости не поддавался. Одно только плохо: не чувствовал седока. Позади слышались крики. Темно-рыжий ушел вперед уже метров на пятьдесят. Топот позади становился громче: нагоняли другие скакуны. Ах, если бы кто-нибудь подбодрил Айгашку. Собрав все силы, он мчался вперед. Но вот его настиг гнедой жеребец. Мелькнула камча. Гнедой уже, видно, вошел в азарт. Скоро он обогнал Айгашку.

И опять кто-то приближался сзади. Айгашка напряг последние силы. Вместе с ним бежали придорожные травы и камни, и ему казалось, что он лишь перебирает ногами, а вперед не подается.

Топот, подхлестнувший его, теперь уже слышался рядом. Через мгновенье с ним поравнялся запыхавшийся скакун. Он изнемогал от усталости. Было видно, что достиг он такой скорости лишь благодаря чумазому седоку, который без устали хрипло кричал.

И хотя он догнал Айгашку, но опередить его уже не смог.

На финише многоголосый шум.

Осмон ждал Айгашку на дороге невдалеке от финиша. Вот уже прошли два коня... Где же Айгашка? Мчатся скакуны. Один без седока. Чей это конь? — сразу не поймешь. Лишь в последний миг узнал Осмон Айгашку и встретил его истошным криком. Совсем обессиливший скакун, услыхав знакомый голос, снова воспрянул духом. Он оставил позади коня, с которым шел рядом, и резко взял подъем. На бугре его ждал Кылычбек.

Увидев Айгашку, летящего к финишу без седока, старик заплакал.

— Миленький ты мой! Золотце мое!

Не только Кылычбек,— все зрители громко приветствовали Айгашку, который без седока пришел третьим.

У мальчика —ездока Айгашки, оказалась вывихнутой нога. Будь мальчик здоровым, ему бы сильно попало от Кылычбека.

Досада переполняла старика: «Ай, как жалко! Надо было посадить внука, тогда бы Айгашка пришел первым!» И все же радости было больше, чем сожаления. Впервые Айгашка победил — вышел на призовое место. «Слава богу! — думал Кылычбек,— спасибо Айгашке, спасибо Осмону...»

Старик ехал домой и предвкушал, как он посмеется над Сарыбеком, как он упрекнет его за дурные слова, которые тот говорил об Айгашке. Да, Сарыбек за свои издевки над отцом должен извиниться!

И еще одно сожаление мучило старика. Вчера вечером они долго спорили с Осмоном из-за приза. Приз был хороший — радиоприемник, коза с козленком и двадцать рублей. Правда, денег им не дали — они пошли на водку джигитам. Спор был из-за приемника и козы. Осмон говорил:

— Ты возьми себе это радио — оно не даст твоим детям скучать. А я возьму козу. Ладно? Согласен?

Нет, Кылычбек не согласился. Ему не нравится радиоприемник. Это ведь не живое существо! А коза живая. Козу жалко.

Осмон начинал разговор снова:

— А радио, говорят, дорогая вещь! Его продашь, так не одну козу купишь. Я тебе как хозяину уступаю.

— Уступаешь? А сам отказываешься. Ты-то сумел бы продать! Вот возьми и продай.

— Ох, шайтан бы тебя забрал! Что ты за человек? Возьми все себе. Я отказываюсь! — Осмон махнул ру-

кой. — Его клячу сделал настоящим скакуном, а он?.. Э-э, нельзя делать человеку добро...

У Кылычбека задергалась борода.

— Ты что? Ты что козыряешь? Сделал — ну и сделал. А теперь будешь принуждать?

— А ты хорошо поступаешь? — Осмон быстро шагнул к козе и схватил ее за рога. — Отдавай, это я заработал!

Разозленный Кылычбек закричал:

— Ты!.. Ты ограбить меня хочешь! Айгашка мой и приз мой! Не дотрагивайся!

— Чтоб твоя борода сгорела! Да есть у тебя хоть немного совести? — Осмон еще настойчивее потянул козу. — Пусти, говорю! Не я буду, если не возьму ее!

Они чуть не задушили бедную козу. Увидев, что она уже хрипит, оба отпустили... И тогда обратились к почтенному аксакалу: разреши спор.

— Хоть конь и твой,— сказал аксакал Кылычбеку,— а заслуга саяпкера.

Осмон повел козу с козленком, Кылычбек с тоской смотрел им вслед и думал: «Увы, увы! Знал бы я, что Айгашка придет третьим, я сам бы его тренировал...»

Слух о том, что колхоз закупает личных коней, осенью стал явью. Кылычбек потерял покой. «Чтобы выполнить план, мы должны отдавать скакунов? Эх, начальники! Лучше бы кормили скот, чтобы он весной не падал. Нашли выход...»

— Вот тебе! — злорадно посмеивался Сарыбек,—я ведь говорил...

Кылычбек негодовал: «Где это видано? Что за жизнь горцу без коня? Хоть бы таких оставили, как мой Айгашка!»

Однажды вечером Кылычбек сидел на своем камне. Прискакал Сарыбек. Он привязал коня к тополю и злоб-

но глянул на Айгашку. Кылычбек не обращал внимания на сына. Сарыбек ударил плетью по сапогам и крикнул:

— Когда мы, наконец, избавимся от Айгашки?

Старик не испугался. Сын может сказать еще и не то.

— А что случилось? — спросил он невозмутимо.

— Что случилось? — рассвирепел Сарыбек. — А то, что над нами народ смеется. Ты тут на камушке сидишь... А я краснею за тебя. У кого остался конь? Только у отца Сарыбека! Каждый день говорят... Тебе честь дорога или конь?

— А, не сердись,— ответил Кылычбек. — Ты тихо говори, ноздри не раздувай.

Сарыбек немного успокоился.

— Ведь только мы одни остались,— мягко, убеждающе сказал он.

Кылычбек мутными глазами тупо посмотрел на сына:

— Хорошо.

Еще долго хотел говорить Сарыбек. И вдруг замолчал: неожиданное согласие отца удивило его.

Кылычбек лежал не смыкая глаз. Когда наступила глубокая ночь, он осторожно поднялся с постели. Чтобы не поднимать шума, он сперва даже не надел галоши, прошел к комнате, в которой спали Сарыбек и его жена, и, лишь убедившись, что спит весь дом, вернулся за галошами. Надев чапкен, он вышел во двор. Небо было чистое. Месяц вышел из-за темной гряды гор.

«Время самое подходящее»,— подумал Кылычбек и насыпал Айгашке пшеницы. Потом вернулся в дом и начал одеваться. Проснулась старуха.

— Тс-с! — прошипел Кылычбек.

— Что стряслось?

— Ничего не стряслось. Встань лучше, да приготовь мне еды в дорогу.

— Куда ты, на ночь глядя?

— Не твоего ума дело. Поторапливайся.

Старуха принялась искать спички.

— Ай, старая, ты все норовишь испортить. Не надо света!

Старик быстро собрался и сел на коня.

— Я уезжаю. Жди вестей через месяц. Спросят, куда уехал, говори: не знаю. Ну, прощай!

Кылычбек медленно ехал по аилу. И как только позади остался последний дом, пустил коня рысью. Сейчас он чувствовал себя богатырем, едущим на битву.

Луна зорко следила за Кылычбеком. С далеких гор, с вечных снегов тянуло прохладой. Стало зябко. Старик часто оглядывался, будто боялся погони. И лишь отъехав подальше, он немного успокоился. «Поеду к казахским сородичам, просижу у них месяц. В колхозе вся эта кутерьма пройдет. И конь останется у меня». Он огляделся. Безлюдное поле. Лишь топот Айгашки нарушал тишину. Кылычбек всем своим существом ощущал свободу. Скоро он приблизился к перекрестку. Из-за бугра вдруг вырвались два снопа света. Старик похолодел, сердце застучало. Он рванул коня в сторону, спустился в балку и спешился. Послышался шум мотора. Снопы света перемещались, будто кого-то искали. Машина проехала. Но Кылычбек долго боялся выйти из своего укрытия: «Как бы еще кто-нибудь не появился». Теперь он уже не ощущал той свободы, он казался себе вором, убегающим от погони.

«Куда я еду?» Он бросил поводья, и Айгашка шел куда глаза глядят. Кылычбеку казалось, что он потерял что-то очень важное. Огни машины пересекли ему путь.

Конь еще не устал, но Кылычбеку надо подумать. Он остановился возле арыка, пустил Айгашку пастись, а сам прилег на траву. «Куда я еду?»

Долго лежал Кылычбек, долго думал.

— У-у! Вор ту-у-ут! — раздался вдруг громкий крик.

Кылычбек вскочил, как ужаленный. Он подумал, что его незаметно окружили. Огляделся. Далеко внизу дви-

галась цепочка домиков с освещенными окнами. Паровоз прогудел еще раз.

Старик уже не мог успокоиться. Он снова забрался в седло.

С первыми лучами солнца проснулся весь дом. Вся семья смотрела, как Кылычбек седлает коня... Старик надел на Айгашку драгоценный нагрудник, который хранился в сундуке. Отойдя на несколько шагов, он оглядел коня и вздохнул.

Потом молча надел новый чепкен и взял камчу.

— Куда спешишь? Чаю попей,— сказала старуха.

Кылычбек не ответил и вышел. Вскоре топот Айгашки затих.

Сарыбек рассмеялся:

— Старик расстается с конем, а как его принарядил! На горбу, что ли, потащит седло домой?

— Почему ты ему этого не сказал? — вздохнула мать.

Но Кылычбек вернулся. Он соскочил с коня и бросил Сарыбеку повод.

— Отведи сам, — сказал он и тихо, не оборачиваясь, прошел в дом. Сарыбек пожал плечами, расседлал Айгашку и повел его на колхозный двор.

Кылычбек даже не взглянул на скатерть, расстеленную перед ним. Он долго, не моргая, смотрел в окно, туда, где обычно стоял Айгашка. И вдруг, как бы очнувшись, вскочил.

— Ой, где Айгашка? Где Сарыбек?

Ему никто не ответил. Дома уже никого не было. Он выскочил во двор. Старуха несла таз.

— Где Айгашка? Сарыбек уехал?

— Да...

— Господи, за что ты меня так наказал? Совсем забыл!..

И он, грузно топая, побежал за Сарыбеком.

Кылычбек догнал сына на краю аила, у кладбища. Измученный, мокрый от пота, старик тяжело дышал и не мог сказать ни слова.

— Что ты еще придумал? — прищурясь спросил Сарыбек.

Кылычбек не обратил на него внимания. Он бросился к Айгашке, обнял его и долго стоял в изнеможении.

Потом расслабил руки и отошел на шаг.

— Бог захотел меня покарать. Совсем забыл! — он говорил, глядя в глаза коню, будто разговаривал только с ним.

— Ну что еще? — нетерпеливо спросил Сарыбек.

Старик отсутствующим взглядом посмотрел на сына, а потом потянулся к гриве Айгашки.

— Благородный мой, ты уходишь,— горестно говорил он,— не уноси с собой наше счастье, мой высокородный... — Кылычбек срезал небольшую прядь гривы.

— Ну, теперь, может быть, хватит? — услышал он голос сына.

Сарыбек повел коня. Старик смотрел вслед. В глазах стояли слезы. Услышав за спиной рев машины, он отошел к краю дороги. Когда пыль рассеялась, он снова увидел Айгашку. А когда улеглась пыль, поднятая второй машиной, Айгашки уже не было.

1960 г.

Суровый путь

ПОВЕСТЬ





ПРОЛОГ

Стояло лето, я был в аиле. Однажды ко мне пришла сгорбленная старуха. Правой рукой она крепко опиралась на посох, левой держалась за больную поясницу.

Я хорошо знаю эту старуху с детства, она живет на верхней улице. Старика своего похоронила несколько лет назад, теперь совсем одна в доме. В аиле зовут ее сварливой, и с этим трудно спорить, уж очень она непоседливый и беспокойный человек. Зимой ли, когда все старухи сидят на солнышке перед домом, летом ли, когда они прячутся в тени, но всегда за мирной беседой и с неизменными веретенами в руках, она, постукивая посохом, вечно куда-то тащится по пыльным улицам аила и, не в силах разогнуться, держится за больную поясницу. Конечно, любое ее дело может подождать,

спешить ей нечего, поэтому, увидев в каком-нибудь дворе старика, она непременно остановится и, с усилием распрямляя спину, тяжело вздохнет и крикнет: «Эй, старина, угости-ка меня насваем[1]!» Если старик — балагур, то он нарочно, чтобы ее подразнить, буркнет, ухмыляясь: «Ты лучше поройся у себя в кармане!» Услышав такое, она взбесится и заорет: «Ах ты старый хрен, ни дна тебе, ни покрышки! Ты, наверное, хочешь взять эту зеленую отраву с собой в могилу!» Старик ничего другого и не собирался услышать, он идет к ней, хитро улыбается и шутливо говорит: «Ох и язык у тебя, байбиче[2]. Надо бы его просушить, вот тебе для этого насвай...» «Давно бы так,— отвечает старуха,— а то разбрехался на всю улицу!..» Но при виде насвая она добреет, пытается сбросить усталость, разогнуться, сбивает со лба назад край засаленного элечека[3]. Ее старость, ее немощь становятся особенно явственными: из-под марлевых слоев элечека торчат свалявшиеся седые пряди, лоб изрезан глубокими темными морщинами, по которым стекает пот. Старуха, намотав на палец край длинного рукава, несколько раз проводит им по лбу, по глазам, вздыхает и тянется к чакче[4]. «Ох и жара стоит! Вот-вот мозги закипят!» — приговаривает она, опрокидывая чакчу, и пытается резкими ударами отсыпать насвая побольше. А если старик заметит: «Не жадничай!» — она и глазом не моргнет, спокойно заложит щепотку за губу, а остальную суховатую зеленую массу высыпет в свою чакчу, где насвая, оказывается, побольше половины, и, брызгая зеленой слюной, отвечает: «Не трясись, жадюга, ты ведь мужчина, сделаешь себе еще. А вот за мной некому смотреть...»

---

[1] Насвай — табак специального приготовления для закладывания под язык или за нижнюю губу.
[2] Байбиче — здесь: уважительное обращение к женщине.
[3] Элечек — белый тюрбан.
[4] Чакча — табакерка для насвая.

Эти слова «за мной некому смотреть» она повторяет всем во всех ситуациях, будто хочет усовестить тех, кто не одинок. Старик после этих слов сконфуженно бормочет:

— Да я так, в шутку сказал, бери еще...

Она не теряется, берет еще.

— Куда ж ты направилась? — спрашивает старик, чтобы переменить тему разговора.

Старуха, оказывается, только того и ждала. Она снова сердится:

— Да вот ищу финагента. Недавно взял один налог, а сегодня опять принес бумагу, меня дома не было, так соседке оставил. Сколько можно платить? За что так обижать и без того обиженных? Нас вдовой называют, нас матерью погибшего солдата величают, кормить-поить нас некому, а налог дерут за налогом!

— Полно, байбиче,— мягко говорит старик,— зря с тебя денег не возьмут. То, наверное, налог за этот год...

— Нет, родимый,— не унимается она,— сколько раз можно брать за год? На днях сама отсчитала ему деньги. У меня и корешок есть... Ох, насолить он мне хочет, этот финагент, чтоб ему пусто было! А ведь вырос вместе с моим сыном, с моим Апаном.

Старику явно надоел этот разговор, он хочет отвязаться от старухи и бурчит:

— Покажи корешок школьникам, они разберутся.

— Найти бы мне его самого, я бы ему показала! — ворчит старуха и, крепко опираясь на посох, бредет дальше.

— Бедняга! — тихо говорит старик ей вслед.

А старуха, возбужденная разговором, еще пуще рассерженная на финагента, честит его на чем свет стоит и жалуется всем встречным старухам и старикам. Но не все ей верят, слышали они о финагенте уже не раз, и, бывало, несла она на него напраслину. Поэтому все

они кивают головой, не возражают, чтобы не затянуть разговора и поскорее от нее отделаться. Старуха все понимает и выходит из себя.

Она злится не только на сборщика налогов. В гневе обходит она весь аил и тогда, когда почтальон запоздает с пособием за погибшего на фронте сына.

— Этот почтальон хочет моей смерти, он в печенках у меня сидит,— говорит она каждому встречному и поперечному, не интересуясь, верят ей или нет, и стремится дальше, чтобы скорее найти беднягу и расправиться с ним.

Больше двадцати лет прошло с тех пор, как сын ее, Апсамат, погиб на фронте.

Любое горе, даже самое тяжкое, со временем забывается, боль притупляется, утихает. Раньше старуха оплакивала сына каждый день. Теперь старая печаль застыла в ее груди. Иногда, в длинные бессонные ночи, разбуженная воспоминаниями, она всколыхнется, скребанет по сердцу... И старухе становится больно, когда она видит ровесников Апсамата, благополучно вернувшихся с войны, а теперь вот выходящих гурьбой из магазина или из буфета. Проходя мимо них, старуха сплевывает насвай и ворчит: «Забыли Апсамата, негодяи! Вон как нажрались, аж лоснятся! Чтоб подавились вы собственной печенкой!» И громко стучит посохом о дорогу. Но когда те останутся далеко позади, задиристость ее пропадает, она никнет, вздыхает и, закусив губу, думает: «Был бы жив мой сынок, тоже ходил бы с ними вместе». Взгляд ее туманится, голова трясется, походка делается вялой, неуверенной.

Она чувствует свинцовую тяжесть в пояснице и заходит в избу-читальню малость передохнуть. Читальней заведует женщина лет сорока. В молодости, видно, она была очень красивой, на смуглых щеках и до сих пор сохранился густой румянец. У нее большие ясные глаза. Говорят, перед войной она была невесткой Апсамата.

Теперь у нее семья, дом, дети. Мужу за пятьдесят, вместо правой ноги у него протез, работает в колхозе учетчиком. Они живут вдали от старухи, на другом конце аила. Старуха иногда заходит отдохнуть к женщине, которая должна была стать ее снохой. В избе-читальне всегда людно. Девушки выбирают книги, но медлят и все поглядывают на парней, которые, сгрудившись вокруг шахматных досок, заняты не столько шахматами, сколько веселыми шуточками. То и дело вспыхивает смех.

Когда в коридоре вдруг раздается знакомый стук посоха, все мгновенно затихают, девчата начинают деловито рыться в книгах, парни склоняются над шахматами... Но старуха слышала задорный смех еще на пороге, поэтому входит в комнату нахмуренной. Она раздражена, но раздражает ее не общее веселье, а то, что Гульшан, которая могла стать ее снохой, смеется, веселится вместе со всеми. «О боже, как быстро люди все забывают!» — говорит ее каменное лицо. Все знают ее характер, поэтому стараются поздороваться с ней как можно более почтительно и тихонько, один за другим, выскальзывают на улицу. Старуха проходит в дальний угол, садится на одинокий стул, тяжело вздыхает. Комната быстро пустеет, и заведующая задает традиционный вопрос, который звучал здесь десятки раз:

— Как поживаете, мама? Что нового?

Больше спрашивать не о чем, говорить не о чем, и чтобы скрыть неловкость встречи, Гульшан начинает собирать книги со столов, переставлять их на полках.

Но старухе достаточно и того, что услышала. Гнев ее улетучивается. Ведь эта женщина, которая могла бы стать ее снохой, но так и не стала, все равно обращается к ней как к родной, зовет ее «мама».

— Ох, милая, твою маму не скоро земля возьмет. Ты лучше о себе расскажи, как дети? Все здоровы? —

Она поднимается и переходит на другой стул, садится к столу против Гульшан.

— Спасибо, мама, дети здоровы...

Старуха молчит, вздыхает, смотрит мутными глазами в одну точку.

— Бедный Апсамат!.. Бедный Апсамат!.. — тихо шевелятся ее губы.

Эти слова звучат укором, на Гульшан наваливается чувство вины, хотя нет за ней никакой вины, и все-таки ей неловко перед старухой за свое счастье. Она делает вид, что занята, переставляет на полке книги, и ей хочется, чтобы кто-нибудь вошел и нарушил эту гнетущую тишину. Но никто не заходит. Старухе тоже трудно, и тишину нарушает она сама.

— Что ты за книгу держишь, родная?

Растерянная женщина рада вопросу, она спешно сообщает название книги и начинает рассказывать, о чем в ней. Но это старухе не интересно. Она достает из кармана грязноватый узелок, развязывает его и раскладывает на столе множество старых затертых квитанций.

— Посмотри, милая, мои бумажки. Этот чертов финагент дерет с меня три шкуры, говорит, та за тот год, та — за этот. Проверь, милая, может, он меня, старуху, обманывает.

Женщина просматривает квитанции, говорит, что все в порядке, никакого обмана. Старуха успокаивается, вздыхает, будто после тяжелой работы, ей становится легче.

Наверное, за такой характер и зовут ее сварливой...

Но память моя сохранила другую старуху, в моем детстве она была совсем не такой.

Когда началась война, мне было шесть лет. Ребята с нашей улицы, мои друзья, были постарше. В первую военную осень почти все они пошли в школу. Мне стало

скучно. Три дня я слонялся по улице совсем один, не зная чем заняться, а потом вместе с другими тоже начал ходить в школу.

В первый день учитель выставил меня из класса и я заревел на весь школьный коридор. Из других классов начали выглядывать учителя, за их спинами виднелись любопытные смеющиеся лица учеников. Их смех прибавил мне сил, и я заорал во все горло.

Из-за меня нельзя было продолжить урок, и тогда один из учителей подошел ко мне, похлопал по плечу, сказал что-то ласковое и отвел в «наш класс». Я стал учеником, фамилии которого не было в классном журнале, стал, можно сказать, вольнослушателем.

Каждый день мы стайкой шли в школу, которая стояла на пригорке. Наш путь лежал мимо домика той старухи. Тогда был жив ее старик. Я никогда не видел, чтобы он с кем-нибудь разговаривал или что-нибудь делал по хозяйству. Вечно сидел он на солнышке и толок в ступе насвай. Старухе тогда было лет пятьдесят. Ее я обычно видел или у черного казана, в котором она жарила румяные душистые пышки, или у старого тазика — за стиркой. Все она делала со вкусом, старательно.

Однажды идем мы в школу и видим — она жарит боорсоки [1]. И источают они такой аромат, что мы, как завороженные, остановились против ее дома и — ни с места. Стоим и стоим. Вдруг раздался ее громкий зов. Ребята постарше пошли, и я за ними. Каждому она дала по три-четыре боорсока и спросила:

— Скажите, родные, когда дядя Апсамат вернется домой?

Ребята растерялись, молчали. Как раз в это время она давали боорсоки мне и я решил, что это она меня спрашивает.

---

[1] Боорсок — печенье в виде жаренных в жире кусочков теста.

— Завтра!—не задумываясь, выкрикнул я и хотел было убежать, но она схватила меня за руку, набрала из чашки желтого, как солнце, сверкающего крупинками топленого масла и положила мне в рот.

— Дай бог, сынок, чтобы сбылись твои слова,— ласково говорила она, поглаживая меня по голове. — Ребенок всегда говорит правду. Пусть Апсамат вернется вместе с твоим братом.

Она протянула мне еще несколько боорсоков, но они не помещались в мои руки, пришлось мне положить их в подол рубашки.

Ребята со смехом побежали, и я потопал за ними, с трудом переставляя ноги в огромных сапогах. За моей спиной раздавались благодарственные слова старухи.

Ребята ждали меня за домом. Едва я завернул к ним, они налетели, как воробьи, и мне ничего не осталось, кроме грязного засаленного подола.

На другой день я так заигрался, что забыл про школу и вспомнил лишь тогда, когда ребята гурьбой выходили из аила. Я кинулся искать книгу, которую носил с собой, хотя она не имела никакого отношения к школе, я не знаю, что это была за книга, помню только, что после моих обильных слез мать достала ее из сундука и наказала беречь, как свою голову. Я не знал, куда я ее вчера после школы забросил, и приставал к матери, чтобы она нашла мне книгу. В это время к нам пришла та старуха. В руках она держала большой кусок топленого масла, слитого в толстую кишку.

— Родной ты мой! Милый маленький пророк! — воскликнула она и кинулась меня целовать. Потом отковырнула пальцем кусок масла и снова втолкнула его мне в рот.

Я был очень удивлен. Еще больше удивлена была моя мать. Она в это время вытащила мою книгу из-под кровати и с недоумением смотрела на эту трогательную сцену.

Старуха нам все объяснила: она получила письмо.

— Вчера он сказал мне, что мой Алсамат вернется завтра. И вот смотрите, хоть и не сам, но добрая весть от него сегодня пришла.

Они сели друг против друга и начали вспоминать сыновей-фронтовиков, смеялись над их былыми забавами, а я, схватив книгу, побежал в школу.

Но через несколько дней школа мне надоела, и я ее бросил. На нашей улице мне было не с кем играть, и я нашел друзей на верхней улице. Я осмелел и пропадал на чужой улице с утра до вечера.

Иногда мы играли у дома той старухи.

— Скажи, сынок, когда вернется дядя Апсамат? — каждый раз спрашивала она.

— Завтра! — выпаливал я.

Она хвалила меня, но с куском масла больше к нам не приходила.

Наступила осень, похолодало, слетели последние желтые листья, застыла вода в арыках, в аиле стало пусто, скучно. На огородах все было убрано, люди никуда не спешили, одевшись потеплее, собирались группками на солнышке и тихо обсуждали свои дела, а когда небо заволакивало тучами, тихо расходились по домам. От этого мир казался мрачным и скучным.

Но игры наши не прекращались. По пустым огородам мы в то время гоняли чижика. Однажды так увлеклись, что я не заметил, как мы очутились у дома старухи. Она сгорбившись сидела у дороги. Увидев меня, позвала к себе. Я рассердился, что меня отрывают от игры, нехотя подошел.

— Родной мой, скажи, когда вернется домой дядя Апсамат? Давно от него нет весточки...

— Завтра! — бросил я торопливо, не глядя на нее, боясь отвести взгляд от мальчишки с чижиком.

— Да благословит господь твои слова. Да поможет он им сбыться.

Она достала из кармана два пыльных кусочка колотого сахара и протянула мне. Я схватил сахар и помчался к товарищу.

На другой день к обеду возле дома старухи почему-то начала собираться толпа. Мы шумно играли невдалеке.

— Прочь отсюда, сорванцы! — сердито крикнул нам какой-то дядька. — Убирайтесь подальше!

По глазам его было видно, что он не шутит. Мы бросились прочь. Интерес к игре пропал. Мы с недоумением смотрели ему вслед. Он тоже завернул к дому старухи.

И вдруг оттуда донесся громкий плач. Плакало сразу много людей. Мы вздрогнули, нам стало страшно: уже не раз раздавался в аиле такой плач, переходящий в истошные вопли.

Крадучись мы приблизились к дому и замешались в толпе. Но народу было очень много, и мы из-за взрослых не могли рассмотреть, что там в середине. Нас гнали, мы шарахались в сторону, а потом снова лезли в гущу людей.

Вдруг я увидел мать, она стояла среди плачущих женщин. Я кое-как пробрался к ней. Она, видно, подумала, что я могу чего-то испугаться, изменилась в лице и попыталась меня прогнать. Но я уже увидел то, чего можно было испугаться: в кругу женщин билась и голосила та старуха. Элечека на ней не было, он, распущенный, валялся на земле, седые волосы ее были растрепаны, щеки исцарапаны в кровь... Обезумевшие глаза ее кого-то искали в толпе и накак не могли найти. Она куда-то рвалась, и несколько женщин едва ее удерживали.

Это было действительно страшно. Я задрожал, как загнанный заяц, и спрятал лицо в материн подол. Но с закрытыми глазами оказалось еще страшнее: со всех сторон на разные голоса кричали и плакали люди, и мне показалось, что я лечу в пропасть. Старуха вопила где-

то совсем рядом. Я открыл глаза и увидел, что она стремительно приближалась ко мне. Вид у нее был такой, будто она хотела разорвать меня в клочья. Я заревел. Мать схватила меня на руки и вынесла из толпы. И вдруг страшный крик старухи оборвался, будто лопнула струна. Мать резко обернулась. Мы увидели тело, распростертое на земле. Около старухи сгрудились женщины, старались привести ее в чувство. Кто-то громко крикнул: «Довольно слез! Прекратите плач!» Все умолкли. В мертвой тишине слышны были только монотонные одинокие стоны. Это старик сидел в стороне под деревом, уронив голову на колени...

Мать отругала меня и повела домой. С тех пор долго еще передо мной стояло разъяренное лицо старухи, а в ушах звучал монотонный тихий плач старика. На другой день я заболел.

Я думаю, если эта старуха и вправду сварливая, то стала она такой после того дня.

Я ее долго потом не видел, боялся ходить на ту улицу, боялся попасть ей на глаза. Меня давило чувство вины. Вины, но за что? Я не мог понять.

Позже, конечно, мы встречались, я старался скорее поздороваться и проскочить мимо.

Прошли годы. И вот теперь, когда она так неожиданно зашла ко мне, я подумал, что вижу ее впервые после того осеннего дня, когда она упала без чувств.

— Здравствуйте, бабушка,— едва проговорил я. — Как ваше здоровье? — Я вскочил ей навстречу. — Повыше проходите, садитесь.

— Э-э, я и тут посижу, у порога,— тихо сказала она и, вздохнув, села к столу.

Я боялся, как бы она не начала вспоминать былое, когда я кормил ее неизменными «завтра». Но тут же

явилась успокоительная мысль: она хочет, чтобы я написал ей заявление на финагента или на почтальона.

Ей было уже за семьдесят, она долго приходила в себя с дороги, отдыхала, собирала мысли.

— Как поживаете, бабушка? — спросил я.

— Э-э, бог меня еще не зовет,— небрежно ответила она.

Я подумал: сейчас будет жаловаться; но старуха начала молча извлекать из бокового кармана камзола толстый четырехугольный узелок. Он застрял, долго не поддавался. Но вот она достала сверток и медленно его развернула. За все это время не проронила ни слова. Потом, тяжело вздохнув, протянула мне пачку бумаг.

— Я пришла, чтобы ты прочитал мне это,— сказала она.

Это были письма Апсамата. И не только письма. Была среди них полностью исписанная ученическая тетрадь. И еще было письмо какого-то сержанта Иванова. Все это, видно, долго хранилось на дне сундука, бумага слежалась, пожелтела, края ломались, осыпались...

— Сегодня под утро приснился мне мой Апан,— начала старуха. — Давно не снился, а вот теперь приснился. Пришел домой, но остался стоять во дворе, сколько ни просила — в дом не вошел. Сказал так: «Я по пути свернул — тебя проведать. Ты до сих пор скучаешь... Не надо, мама, скоро увидимся». И ушел. Нет, уехал. Я запомнила: уехал по бездорожью на белом коне... Конь во сне ведь это — духи предков. Я долго смотрела ему вслед, и сердце мое старое заныло. Сказал, скоро увидимся. Зовет меня, дни мои, значит, сочтены. Скорей бы уж они кончились... Она опустошенно вздохнула и невидящим взглядом уставилась сквозь окно куда-то вдаль. Потом, будто что-то вспомнив, добавила: — Даже если, сынок, ты очень занят, отложи свои дела и прочитай мне это. Хочу в последний раз его послушать.

Все это она говорила спокойно, степенно, без тени раздражения, будто всем простила все их грехи. Исчезла нервная, ворчливая старуха, перед которой все кругом были виновны в гибели ее сына. Передо мной была прежняя добрая и покладистая женщина, которая весь день трудилась, которая угощала нас, пацанов, душистыми боорсоками, та женщина, которой я каждый раз «завтра» предсказывал возвращение Апсамата. Такое ее преображение удивило меня, обрадовало, хотя и немного встревожило. В ее спокойствии было что-то отрешенное, величественное.

Я прочитал ей все письма Апсамата.

Как все солдатские письма, они были написаны на скорую руку, то чернилами, то карандашом. Но были они не совсем обычные. Он справлялся о здоровье матери и отца, сообщал о своем здоровье. Но в них было еще то, чего нет в обычных солдатских письмах,— обрывки каких-то тревожных, не четко оформленных мыслей, высказанных торопливо, скомканно, как тороплив и неровен был почерк писавшего.

Это-то и пробудило во мне интерес к Апсамату, к его судьбе. Я спросил у старухи, нет ли еще писем. Нет, это все, что от него осталось.

Отпуск мой близился к концу, подходила пора ехать в город, а мне хотелось как можно больше узнать об Апсамате, поэтому я спешил.

Я отправился к Гульшан, заведующей избой-читальней. Бывшая невеста Апсамата долго колебалась, прежде чем решилась исповедаться передо мной, ведь была она значительно старше меня, да и не хотелось ей выдавать сокровенные тайны юности. Она рассказала, конечно, не все, а лишь то, что нашла возможным. И показала письма. Письма Апсамата к ней отличались от писем к матери. В них Апсамат куда подробнее говорил о своих чувствах, определеннее высказывал свои

мысли. Эти письма и исповедь Гульшан окончательно определили мое решение рассказать об Апсамате.

И тогда я пошел искать Карабая, его друга, с которым они вместе ушли на фронт. Уж он-то должен знать об Апсамате больше других.

Я знал Карабая, знал, что он неразговорчив и даже косноязычен, и все-таки его сбивчивый нескладный рассказ пополнил мои сведения.

Больше черпать было негде. Я понимал: этого очень мало, домыслить недостающее мне трудно, особенно потому, что я не видел войны.

И все же...

РАССКАЗ ГУЛЬШАН

«Нет, дорогой, я ничего не забыла. А только трудно вспоминать те дни и снова все переживать. Да и сердце мое, видно, постарело, а старость и жадность, ты же знаешь,— сестры; вот и не хочет сердце вдруг отдать то, что столько лет хранило. Расскажу коротко. А там — сам думай...

Мы с Апсаматом вместе росли, вместе учились. Только он был на класс старше меня. Последний год перед войной он работал в сельсовете...»

В то лето он только достиг призывного возраста, и ему казалось, что пока дойдет очередь до него, пока его призовут, война уже и кончится. Но война разгоралась, и чем тревожнее были сводки, тем больше думал Апсамат о предстоящей женитьбе, тем скорее ему хотелось сыграть свадьбу. Он приставал к Гульшан, уговаривал ее, и свадьбу перенесли с поздней осени на август. Но и это показалось ему слишком не скоро. Надо бы пораньше, поскорее, твердил он. Но она не соглашалась.

Мальчик, получив от Апсамата красное яблоко, с радостью побежал к Гульшан. Этот мальчик был посыльным, он всегда предупреждал Гульшан о свидании, всегда с удовольствием выполнял поручения Апсамата, потому что каждый раз получал что-нибудь сладкое. Сам Апсамат пошел по меже, разделявшей два огорода, к заветной яблоне. Кукурузные початки уже наливались молочным соком, стебли были высокими, листья громко шелестели, а цветущие метелки осыпались прямо за рубаху. Они приятно щекотали грудь и спину.

Местом встреч с Гульшан были заросли кукурузы у большой яблони. Весь аил, конечно, знал, что дело идет к свадьбе, но так как о свадьбе еще не было объявлено, Апсамат и Гульшан стеснялись встречаться открыто.

Гульшан, лишь завидев мальчика, сразу брала пустые ведра и шла по тропке за водой, но не к речке, а через огород к поливному арыку. Увидев Апсамата, она оглядывалась и ныряла к нему в густую кукурузу. Дома знали, куда она пошла с ведрами, и не беспокоились, хотя она пропадала на час-два и не появлялась. Мать не искала ее, не звала, не кричала на всю улицу, как это делали другие заботливые мамаши.

Так было и в этот раз. Они долго сидели обнявшись и говорили лишь об одном — о свадьбе. Вернее, говорил о свадьбе он, а Гульшан, не отказываясь и в то же время не решаясь с ним согласиться, старалась увести разговор в сторону. Потом вдруг сказала:

— Ой, кто-то сюда идет! — и ловко вырвалась из его объятий. Вырвалась, но не отбежала. Сделала два шага и села, посмотрела на него сияющими глазами. Видно было, что она хотела с ним согласиться...

Апсамат снова ее поймал, крепко обнял и подумал: «Не отпущу, пока не согласится!»

— Скажи, Гульшан, разве ты не любишь меня? Почему не соглашаешься? Если это все равно будет, то зачем оттягивать? Зачем откладывать то, к чему мы стремимся?

Апсамат говорил очень настойчиво, и Гульшан нахмурилась. Тогда он пожалел, что взял столь решительный тон, и уже готов был сказать: «Ладно, милая, не будем так спешить», но удержался, сохранил непреклонность в лице. «Пусть даже немного обидится, потом уладим...» А Гульшан тоскливо посмотрела на него и прошептала:

— А если тебя потом призовут, что я буду делать одна?..

По сердцу резанул холодный нож. Апсамат почувствовал себя так, будто до этой минуты ничего не слышал о войне, будто не было войны, и вот эту страшную весть впервые сообщила ему Гульшан. Он побледнел, опустил голову, умолк.

Она поняла, что обидела его. И тогда, сперва погладив по руке, припала к его груди и горячо прошептала:

— Ладно, милый, пусть будет по-твоему. — И уткнулась лицом ему в плечо.

С этого дня все смешалось в жарких солнечных лучах, а тот миг горел в памяти, как радужное видение. Он почувствовал, что сразу повзрослел, стал самостоятельным и решительным. Раньше говорил с родителями о женитьбе через доверенное лицо, молодую соседку, а теперь ворвался домой, как вихрь, и закричал:

— Готовьтесь к свадьбе! В следующее воскресенье принимайте невесту!

На лицах родителей в первый миг появилась растерянность, но тут же они озарились улыбками. А он покраснел и выскочил во двор, и слышал, как мать что-то говорила отцу и смеялась. Он выругал себя за несдержанность и широким шагом пошел подальше от дома, в степь, он шел, щурился на солнце и улыбался.

В тот день он вернулся домой поздно. Что делал, где пропадал — сам не знал. Помнил только, что сидел на холме и пел, потом, как мальчик, бросал камешки

в цель и смеялся, смеялся независимо от того, попадал камешек в цель или нет.

Возвращался домой по улице, где жила Гульшан. Во многих домах уже спали. В окнах Гульшан горел свет. Эти окна будто улыбались ему, манили к себе. Ему нестерпимо захотелось заглянуть в эти милые окна, узнать, спит она или еще нет, а если не спит, то что делает. Он осторожно приблизился к дому. Вдруг со страшным лаем, гремя цепью, на него бросился огромный пес. «Как я мог забыть про этого зверя!» — подумал Апсамат, отскакивая. Пес так сильно рванулся, что повис на цепи, закашлялся, но тут же возобновил истошный лай. И тогда Апсамату пришлось бежать, скорее бежать по темной улице, чтобы кто-нибудь из дома Гульшан его не заметил.

Теперь на свиданиях им хотелось говорить о том, о чем они все время думали — о дне свадьбы, но говорить об этом они стеснялись, слова их были о чем-то другом, и только глаза говорили о том, что без остатка занимало все эти дни их ликующие души.

Раньше в часы свиданий они горячо целовались, а теперь все было молчаливо отложено на тот заветный день, который обещал им радость и пугал своей необычностью, таинственностью. Этот день им казался святым. И не хотелось прежде времени вторгаться в это святое.

Последний раз они встретились за три дня до свадьбы. Гульшан пришла с джене,[1], своей наставницей и советчицей.

— Так вот, милый женишок, встречи придется прекратить,— назидательно начала джене. — Теперь каждый отдельно должен готовиться к свадьбе. Три дня можно и потерпеть,— сказала она, лукаво улыбаясь.

---

[1] Джене — жена старшего брата.

Апсамат не возражал, кивнул головой. Все помолчали. И тут, откашлявшись, джене начала речь. Апсамат и Гульшан по первым словам поняли, что это будет длинная нравоучительная речь, в которой наставница готова обнаружить свой назаурядный опыт в семейной жизни. Это показалось им грубым вмешательством в то, что они так оберегали. Оба умоляюще посмотрели на джене, и она вдруг умолкла. Они воспользовались мигом, вскочили с мест и начали прощаться. Попрощались просто, без обычных объятий, только долго смотрели друг другу в глаза, и ему вдруг стало не по себе. Захотелось крепко обнять ее и не отпускать. В нем всколыхнулась такая нежность, что подумалось: такого уже не будет. Ему захотелось побежать вслед за Гульшан, но она уходила с этой расторопной теткой, и по шороху кукурузы он понял, что они уже далеко.

Он вышел на дорогу. Итак, встречи закончены. Еще три дня и они — навеки вместе. Больше не надо будет нырять в кукурузу, оглядываться, шарахаться от людей... Нетерпеливое ожидание предстоящих событий настолько его дурманило, что это минутное сожаление не могло отвлечь от главных мыслей.

РАССКАЗ КАРАБАЯ

«Э-э, тогда ты был совсем малышом, я даже и не помню тебя. Мы с Апсаматом вместе росли, учились в одном классе. Он нравился многим девочкам. Но ему нравилась только Гульшан. А она была самая красивая и нравилась нам всем, не только мальчикам из нашего класса, но всем, всей школе. Она выделяла Апсамата, и мы его за это не любили. И я тоже. А потом была назначена его свадьба, и он, как назло, выбрал меня в дружки.

Так мы встретили войну...»

И настал долгожданный день — воскресенье.

Апсамат спал в саду. Едва забрезжил рассвет, он проснулся. Так бывало в детстве: когда ему покупали какую-нибудь обнову, он просыпался первым в доме. Ему не терпелось скорее облачиться в новый наряд, и он спросонок лез под подушку...

Но сейчас долгожданного подарка не было с ним рядом, и он подумал: как прожить до вечера, чем заняться, как скоротать время?..

Что сейчас делает Гульшан? Сегодня она далека, сегодня она — полная неизвестность, но завтра он будет знать все, каждый ее шаг, потому что она будет рядом, все время с ним!..

Надо сделать что-нибудь полезное. Он встал. Родители еще спали. К свадьбе все было готово. Не найдя занятия, он снова завалился в постель.

В голову лезли блаженные мысли. В мечтах строилась счастливая жизнь, и все начиналось сегодняшним лучезарным днем.

Он лежал на спине и сквозь зеленые листья рассматривал краснеющее яблоко. И вдруг сад словно ожил: по яблокам, по листьям, по стволам побежали красные зайчики, сквозь ветки протянулись золотые нити... Он сразу повернулся к востоку. Всходило солнце. Оно улыбалось ему, теплые лучи гладили его лицо. И он, поняв ласку солнца, улыбался ему в ответ.

С отцом он почти не общался, обычно отцу было как-то не до него. Но мать — она всегда была заботлива и требовательна, хотела, чтобы сын вырос образованным, самостоятельным, серьезным. И поэтому он с детства старался казаться взрослым, брался за дела, которые часто были ему не по плечу.

Сегодня Апсамат старался скрыть от матери свое волнение, пытался быть внешне равнодушным. Он начал спокойно готовиться к поездке на базар в соседнее большое село, хотя дел у него там не было никаких. Он

медленно вывел коня, вынес седло со сбруей, деловито покашливая, начал седлать. Потом, насвистывая веселую песенку, вошел в дом, выпил кислого молока. Мать, наверное, спросит: «Куда собрался? В такой день посидел бы дома»,— и он заранее приготовил ответ. Но мать ничего не спросила. Тогда он подошел к столу и стал шелестеть какими-то бумагами, чтобы обратить на себя внимание. Но мать не глянула в его сторону.

Даже в дни больших событий она оставалась спокойной. К любому торжеству готовилась заблаговременно и в день праздника была свободна. И сегодня она была спокойна, а в комнатах было чисто, прибрано, нарядно. За день она успевала переделать тысячу дел, знала все, что ей надо будет сделать. Вероятно, она знала и его мысли. Ну, конечно, знала, иначе бы она не улыбалась невзначай, между делом. Да, она смеялась над ним, над его ребячеством! Он вдруг понял это, покраснел и выскочил на улицу.

Отец, как всегда, сидел на пне и готовил впрок насвай. И хотя впрок у него никогда не было — разбирали старики и старухи — он не уставал сидеть со ступкой. Сегодня на свадьбе будет много желающих заложить за губу дурманящего зелья, поэтому надо сделать его побольше. Перед отцом лежала горка терпкого сухого самосада и зола чекенде, специального растения, необходимого для насвая. Когда Апсамат уже вставил левую ногу в стремя, отец оторвался от своего занятия и важно сказал:

— Возвращайся пораньше. Не опаздывай.

Отца никогда не интересовало, где сын, чем занят. Да и сейчас он не знал, куда тот собрался. И сказать же такое: «Не опаздывай». Апсамат едва не рассмеялся. Уж на собственную свадьбу он не опоздает!

Дружкой на свадьбу он выбрал Карабая: тот обычно подчинялся ему, хотя и не всегда охотно. Он заехал за Карабаем, и вместе они направились на базар. Ехали не-

торопливо, потому что делать на базаре им было нечего. До села — семь-восемь километров, пока они добрались до него, встретили многих знакомых, которые уже возвращались домой.

Базарная площадь оказалась пустой, по ней слонялись ребятишки, бродили собаки. Люди, которые еще не разъехались по домам, сидели в тени деревьев, толпились возле магазина. Большая толпа, словно улей, гудела вокруг буфета. Кто-то громко говорил, слышался то смех, то плач. Все были навеселе. Женский плач раздавался громче, и Апсамату стало муторно. Он догадался: кого-то провожали на фронт.

Друзья спешились, привязали коней к столбу, осмотрелись. Несколько пьяных парней едва держались на ногах. Их окружали родные и близкие. Кто-то держал речь, наставлял, желал им стать героями. Старушки вытирали рукавами мокрые глаза. Горестно молчали бледные молодые женщины. Одна из них голосила.

По спине Апсамата пробежал мороз. Захотелось скорее уйти от горюющих, показалось, что если он еще немного послушает этот душераздирающий плач, настроение у него испортится на весь день, на весь сегодняшний долгожданный день!

— Пойдем отсюда,— сказал он Карабаю,— выпьем где-нибудь в другом месте.

Но Карабай не согласился, он не понял, почему его друг хочет уйти. Апсамат не стал объяснять и побрел вслед за Карабаем.

В буфете — небольшой комнате с низкими грязными окнами — стоял дым коромыслом. Раздавались выкрики, брань. Гомон, тупые пьяные лица. Апсамата затошнило. Все стало противным: и он сам — за то, что вошел сюда против воли, и Карабай — за то, что не понял друга и теперь деловито что-то заказывал официантке, и лоснящиеся потные щеки, бессмысленные глаза, наполовину мокрые цигарки в зубах, которые выплывали из дыма,

окружали его, давили со всех сторон. Но уйти он не смог.

Люди, которых они видели на улице, вероятно, только что вышли отсюда: у стены стояли сдвинутые столы, заваленные грязной посудой. Апсамат прислушался: плача уже не было. Наверное, те ушли. А может быть, голос той женщины не мог к нему пробиться сквозь плотный многоголосый буфетный гам. Но перед взором его так и стояли пьяные парни, а рядом с ними — молодые женщины с глазами, полными тоски. «Бедняги!» — подумал Апсамат. Ему вдруг пришло в голову — да, в ту минуту он был просто уверен! — что парни не вернутся с фронта, не вернутся все до единого, и их молодые жены останутся вдовами. А сам он был как бы в стороне, лично его все это не касалось; война, конечно, где-то была, но не для него. Чтобы побыть подольше в этой зыбкой иллюзии, он схватился за водку. Когда она властно обволокла его мозг, он вернулся к утреннему блаженному состоянию. Теперь уже не было ни едкого дыма в буфете, ни тошнотворного запаха. Пьяный гул пролетал мимо, а перед взором расстилалась картина восхода солнца, красного ласкового солнца! Он думал о Гульшан, о том, что произойдет сегодня вечером, ночью, праздничное ликование нарастало, он улыбался всем своим существом и торжествовал.

А Карабай без умолку говорил о свадьбе. Сам он женился в прошлом году и теперь, как знаток, вел рассказ о жизни с женщиной, но Апсамату не нравились его пьяные слова, не хотелось его слушать, и он не слушал, не слышал ничего, а плыл, все дальше плыл на золотых крыльях мечты...

Обратно они гнали коней галопом. Они были изрядно пьяны. Солнце клонилось к закату, они запаздывали. Апсамат все погонял коня, ему казалось, что солнце это и есть Гульшан, и он должен торопиться, иначе она уйдет за далекую гору, и тогда он ее не достигнет.

Свадьба ушла куда-то вдаль, в глубь сознания, будто она уже была, и нет в ней ничего нового, он к ней не стремился, он стремился к солнцу-Гульшан... «Неужели я пьян?.. — думал он. — Ну и пусть... Зато буду смелее, решительнее. Но нет, я не пьян... я просто выпил...»

Конь бежал ровно, Апсамат смотрел на развевающуюся гриву и беспричинно улыбался.

Они въехали во двор, спешились, кое-как привязали разгоряченных коней и, громко хлопая камчой по голенищам, быстро пошли к дверям. Они спешили, ведь их, наверное, давно ждали сваты. Но нигде никого не было. «Где же они? Наверное, ждут нас в комнате», — подумал Апсамат.

Он чувствовал, что опоздал, но стыд его не мучил. Наоборот, он был доволен, что выпил и будет теперь смелым перед родителями... Около пня валялась пустая ступка, значит, отец закончил свою работу, заготовил насвай для гостей. Апсамат захотел поддать ступку ногой, но постеснялся Карабая, пропустил его вперед и шел за ним, разглядывая его сапоги, мокрые от конского пота, и испытывал удовольствие от того, что заставил ждать столь почтенных людей.

Переступили порог. В доме было тихо, пустынно, грустно. Мать сидела одна. Печальными глазами она глядела на Апсамата, словно бранила его за опоздание. Но в глазах было другое. Апсамат вздрогнул. Сердце его поняло: что-то случилось. Через плечо Карабая он заглянул в глубь комнаты, где должны были сидеть готовые в путь сваты, но сидел там лишь отец, один отец с низко опущенной головой.

— Что, уже все ушли? — спросил Карабай, неизвестно к кому обращаясь.

«Уже ушли или еще не приходили?» — колотилось в голове у Апсамата. Но отец и мать промолчали, и его взяла оторопь. Тут же явилась спасительная мысль:

«Жених ведь должен ехать после сватов. Значит, все уже уехали... Но почему они молчат?..»

Отец не отрывал взгляда от пола. Мать сидела неподвижно, будто не могла шелохнуться, и смотрела, смотрела на сына. Потом губы ее задрожали, казалось, она заговорила, но слов не было, а из неподвижных глаз покатились крупные слезы. Мать кивнула на стол.

Апсамат сразу догадался. Хотя он и думал, что война находится где-то за пределами его судьбы, но сомнение давно поселилось в глубине души, и он каждый день готовился к этой минуте. «Вот и пришло». Карабай первый взял со стола листок, сложенный вдвое, и долго его читал. Апсамат понял, что друг давно прочитал бумагу, но не решается ему сказать, и тогда, не вытерпев, он резко повернулся и вышел.

Первое, что пришло Апсамату в голову — скорее взять Гульшан. Он был зол на Карабая, на себя, на всех. Быстро подбежал к коням, которые после долгой дороги выбивали ногами дробь и грызли удила. «Ну, где он там?» — подумал о Карабае и тут же решил скорее уехать без него, чтобы он больше не мешал. Апсамату хотелось побыть одному: утешения, сочувствие только усугубили бы его мучения.

Он вскочил в седло и поскакал прочь из аила. Хмеля как не бывало.

Да, Апсамат ждал этот день. С первого сообщения о войне он почувствовал: скоро, скоро подойдет его очередь. Еще несколько дней — и повестка. Еще два дня, еще один... Но все это было чувством, а не мыслью. А в мыслях война скоро кончалась, и он не успевал попасть на фронт. Он хотел этому верить и верил. Как путник, проезжающий мимо кладбища, видящий похороны неизвестного ему человека и продолжающий путь, он был равнодушен к чужому горю, к слезам тех, кто

провожал на фронт мужей и сыновей. Но его равнодушие не было спокойствием. Он чувствовал себя маленьким, одиноким, потерянным...

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ГУЛЬШАН

«... Время, видно, тогда было другое, а может, характеры наши были не такие, но нынешняя молодежь, мне кажется, в любви куда откровеннее. Ведь мы тогда стеснялись друг друга, стеснялись открывать свои чувства. Мы знали, что любим друг друга, и этого было достаточно. Потому, наверное, и попрощались не так, как нынче прощаются девушки, провожая своих парней на военную службу, всего лишь на мирную службу, а я тогда провожала его на фронт, туда, где лилась кровь...»

Весь день палило солнце. К вечеру небо затянулось мягкими серыми тучами, казалось хлынет дождь, но его все не было и не было. Одолевала духота. Апсамат сидел под заветной яблоней.

Все вокруг затаилось. Молчала даже кукуруза, которая так громко шелестела от малейшего ветерка. Апсамата окутывала такая тишина и такая непроглядная темень, что ему показалось, будто он умер. Но он был жив, мокрая от пота рубаха липла к спине, он оттягивал ее, дул на грудь. И ждал. А Гульшан не шла. Апсамат чувствовал себя покинутым, заброшенным. Голова не держалась, падала, изредка он вскидывал ее на внезапный лай, который странно возникал в густой тишине. Ночь давила.

Неизвестно, сколько бы он еще выдержал, если бы не пришла Гульшан.

Сначала невдалеке послышался шорох: кто-то шел

очень осторожно. Апсамат резко шевельнулся, шаги затихли, и он услышал недовольный голос:

— Что-то его не видно.

Черт побери! Это был голос джене, наставницы и советчицы Гульшан. Что ей тут надо? Или думает, что без нее не обойтись? О чем при ней говорить? Апсамат был вне себя от ярости. Как вести себя при этой болтунье? Да, она пришла нарочно, чтобы оберегать Гульшан, чтобы спасти ее честь! Апсамат возненавидел эту женщину. Он захотел закричать, чтобы она убиралась к черту. Они были рядом, он Апсамат не обнаружил себя, не встал навстречу. Пусть пошарят в темноте, думал он. Ах, Гульшан, почему не пришла одна?!

— Эй, где ты тут? — крикнула молодайка.

Апсамат хотел еще немного помолчать, но не смог: ему не терпелось обнять Гульшан. Он кашлянул и услышал, как облегченно, но со слезами в голосе ахнула девушка. Так может ахнуть только мать, у которой потерялся ребенок, она избегалась в поисках, изверилась, отчаялась, и вдруг ее малыш нашелся, живой, целый и невредимый.

Теперь Апсамат слышал совсем рядом ее дыхание и протянул руку в темноту, ей навстречу. Горячо дыша, Гульшан кинулась к нему, жадными руками ощупала лицо, плечи, упала ему на грудь, обняла за шею и разрыдалась. Апсамат начал ожесточенно целовать ее в шею, в глаза, солоноватые от слез, в трепещущие жаркие губы. Гульшан была покорна и продолжала всхлипывать.

Она ждала сегодняшнего вечера с таким же нетерпением, как и он. Известие о повестке ошеломило ее. Величайшим усилием воли она сумела удержать себя в руках. И сейчас, наконец, переполнявшие ее чувства прорвались, и хлынули, как поток, прорвавший плотину.

Оба они забыли, что рядом — джене. Но вот Гульшан начала затихать, плечи ее лишь изредка вздрагивали, она не рыдала, а только глубоко, прерывисто вздыхала. Пока-

залось, что она уже стеснялась такого бурного открытого выражения своих чувств, потому что продолжала прятать лицо на его груди и еще крепче прижималась к нему. Апсамат стоял молча, не мешал ей успокоиться, только нежно целовал в голову и вдыхал запах ее волос. Этот запах бередил душу, от него вскипала кровь. Апсамата глубоко взволновала открытость обычно сдержанной Гульшан, ее нежная доверчивость. Сердце его гулко колотилось, в горле пересохло — совсем как в тот день, когда он признался ей в любви. Близкое расставание стало еще более тяжелым.

Джене тем временем сбегала домой за выпивкой и закуской. В белом узелке было холодное мясо, хлеб, мягкие душистые боорсоки, яблоки и бутылка водки... Эту водку должны были пить на свадьбе друзья Апсамата, эти яблоки должны были есть подруги Гульшан... Ах, как ждал он этого вечера! На виду у всех ребят и девчат как он поцеловал бы свою возлюбленную, прижал бы ее к груди так горячо, что глаза у всех заблестели бы от зависти! Он часто думал об этой минуте, он готовился к ней. Конечно, думал он, Гульшан застесняется, покраснеет, но глаза ее будут сиять и искриться, а сердце радоваться! И ему нравилась ее любовь, глубокая и спокойная, как тихая летняя ночь.

И вот они пьют эту водку, едят это мясо. Невеселая трапеза походила на тризну. Вкусная еда застревала в горле. Апсамату показалось, что он сидит на собственных поминках.

Джене бодрила его, желала здоровья и благополучного возвращения, но было ясно, что она сама не верит в свои слова, а говорит, потому что надо что-то говорить.

Гульшан тяжело вздыхала, положив голову Апсамату на плечо. Джене догадалась, что она здесь лишняя. Она быстро собрала остатки еды и, сказав, что должна постлать постель для стариков, ушла. Апсамат был благодарен ей, что она оставила их наедине и без нравоучений.

Как только она скрылась в гуще кукурузы, они с Гульшан бросились друг другу в объятия. Гульшан уже не плакала и, задыхаясь от прилива чувств, начала жарко его целовать.

— Что же теперь будет?.. Как же... — Только это и могла она проговорить. Она не в силах была осмыслить подошедшее расставание, не могла в него поверить, хотя все время думала о возможности этого дня.

— Любимая... моя любимая... — повторял Апсамат.

Больше ничего они не говорили, все было понятно и так.

Зашелестела кукуруза, послышался кашель джене: она приближалась.

Они притихли, встали. И тут Гульшан торопливо обвила его шею горячими руками и жарко зашептала прямо в ухо:

— Буду ждать тебя!.. Хоть сколько буду ждать...

Апсамат не смог ей ответить: к горлу подошел комок.

— Старики не спят, говорят, что дождутся меня,— сказала джене вроде бы между прочим.

Неожиданно зашумела кукуруза: по крепким листьям забарабанили крупные капли. Тихая ночь ожила.

— Ну вот и дождь пошел,— удовлетворенно и со значением сказала джене. Мысли ее были понятны.

— Ладно, давайте прощаться,— сказал Апсамат.

Гульшан вздрогнула, схватила его за руки. Она снова была готова разрыдаться. Но, сдерживая себя, дрожащими пальцами расстегнула ему рубаху и прижалась губами к его груди. Потом застегнула пуговицы, обняла, хотела что-то сказать, но слезы душили ее. Апсамат не мог больше смотреть на эти мучения. Он попрощался с наставницей, та искренне расплакалась, начала говорить напутствия, но он не слушал ее, а все крепче обнимал Гульшан.

— Прощай... Гульшан... дорогая...

Она с трудом подняла глаза.

— Буду ждать.

Они медленно расслабили объятия.

Гульшан уходила, опершись на плечо джене. Апсамат стоял и не мог оторвать ноги от земли.

Гульшан не сдержалась, плач вырвался из ее груди. Апсамат захотел побежать, догнать их, но джене быстро повела ее прочь.

Апсамат скрипнул зубами. Шум дождя нарастал. И вот хлынул холодный ливень.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА КАРАБАЯ

«... Вообще-то парень он был немного странный. Бывало, задумывался над пустяками. А ведь много думать — плохо... Каким он был в детстве, таким и остался в солдатах... И я тоже был хорош... Привезли нас в казахские степи...»

Земля была серая, сухая, неприветливая. Степь ровная, и ничего на ней не приметишь. Глаза, которые привыкли к белоснежным горным хребтам, смотрят на эту унылую пустоту отчужденно.

Безжалостное солнце бьет прямо в макушку, реденькие кустики трав высохли, земля пахнет гарью. В воздухе жуткая тишина. Небо — как раскаленный казан, опрокинутый над головой. Среди серых пыльных кустиков не видно ни зеленой травинки, ни юркого зверька. Только изредка выскакивают ящерицы, такие же серые, как степь, и покрытые сеткой, как степь трещинами. При встрече с солдатами ящерица останавливается, удивленно смотрит на пришельцев...

В окрестностях нет населенных пунктов, кроме солдатского палаточного лагеря. Вдали проходит железная дорога. Увидев иногда ползущий состав, солдаты ра-

дуются, будто весточку получили из дома, из тех мест, где живут люди. Поезд напоминает им, что они в мире не одни.

Солдаты маршируют сомкнутыми рядами, громко топчут землю, вздымают пыль. Она лезет со всех сторон. Голос командира — как выстрелы в горячем воздухе. Он не доходит до сознания, отлетает прочь.

— Раз! Два! Три!.. Раз! Два! Три!..

Солнце немилосердно жарит плечи, мокрая одежда липнет к телу. Пыль, смешанная с потом, остро щиплет обгоревшую шею, ноги — будто на раскаленных углях. В ушах металлический скрежет. Язык толстый, сухой, будто рот заткнули старой пыльной тряпкой. Он ворочается медленно, как выкинутая на горячий песок засыпающая рыба. А голос командира пробивает воздух, сверлит уши и методически долбит в одну и ту же точку в мозгах.

— Раз! Два! Три!.. Раз! Два! Три!..

Ветер замер. Время застыло.

Такими были для Апсамата первые дни солдатской жизни.

Усталые, разморенные жарой, тела вечером падают пластом. Но сон не идет. Глаза лезут на лоб, сверлят густую темноту. Солдаты заворачивают низ палаток, чтобы продувало, но вместо прохлады их окутывает горячий воздух: раскаленная за день земля отдает тепло.

Апсамат высовывает из палатки голову и начинает искать в небе знакомые с детства созвездия. Все они на своих местах, но ему кажется, что они тоже странники и тоже ушли далеко от своего аила... Душу охватывает тоска. Вокруг на все лады храпят его товарищи, кто-то бубнит во сне, кого-то душит сухой махорочный кашель... Тяжелая ночь давит одинаково всех. Около крайней палатки мерцает фонарь. В желтом пятачке света дремлет, облокотясь на винтовку, часовой. «Спать! Спать!» — приказывает себе Апсамат. Но сон не идет. А голова у часового опускается все ниже и ниже. Крик-

нуть бы, разбудить его, но кричать нельзя: проснутся все. Достанется ему, бедняге, как досталось вчера Карабаю. Дежурный офицер застал Карабая дремлющим на посту, а утром вывел его перед строем, крепко отчитал и дал наряд вне очереди. Апсамату стыдно было смотреть на Карабая, но он ничем не мог ему помочь. Кроме того, не прошла еще первая обида. А все случилось из-за него...

Тогда они только-только приехали сюда. Их начали каждый день строем водить по степи. Они были еще непривычны к такой жаре. Идут вперед — солнце жарит лицо, идут назад — как на сковородке горит спина, будто не гимнастерка на ней, а рубашка из железных листов. А тут еще Карабай: не может идти в ногу, путает команды «направо» и «налево». Сержант сердится, и из-за него гоняет всех без отдыха. Замучились вконец. Кто-то растер ногу и кроет матом глупого солдата. Но он неисправим. А сержант и не думает дать поблажку — все отделение мучается из-за одного. Карабай устал, ошалел от крика и вовсе перестал понимать команды. А сержант рассвирепел. Апсамат разозлился на обоих; его бесила и безмерная тупость Карабая и одержимость сержанта, который не понимал, не хотел понять слабости солдата и орал на него до хрипоты.

Подошло время обеда. Но сержант и не собирался вести их в столовую. Он выстроил всех лицом к солнцу и занялся одним Карабаем. Сначала он водил солдата без поворотов. Ноги Карабая заплетались. «Дура-ак!» — шипели ребята, которые ну прямо жарились на полуденном солнце. Сержант не отставал от «дурака» ни на шаг. Он охрип, но продолжал выкрикивать команду за командой. «Напра-во! Нале-во!» — гремело в воздухе. Карабай в растерянности останавливался, крутил головой, думал, где «право», где «лево», а уж потом выполнял команду. Шел он нехотя, понуро. «Нале-во!» — крикнул сержант. Карабай, всем существом своим ожидавший

эту команду, быстро повернул налево. Он был рад, что не ошибся, гордо поднял голову и пошел бодрее. Но сержант снова закричал «нале-во!» и совсем перепутал мысли Карабая. Ведь ему казалось, что после команды «налево» обязательно будет «направо», и он повернул направо.

Несмотря на то, что солдаты совсем обалдели от жары, все дружно расхохотались. Неожиданный громкий смех обрубил мысли Карабая. Он вдруг остановился. На лице — ни тени смущения. Сержант кричал, ругал его, а Карабай, будто ничего не понимал, тупо смотрел сержанту в лицо. Тот не выдержал.

— Ложись!

Карабай не понял, за что его хотят так жестоко наказать, и растерянно посмотрел сначала на землю, потом на сержанта. Но тот решительно указал рукой вниз. Карабай лег.

— Ползком!

Собирая пыль с сухих кустиков травы прямо на потное лицо, Карабай пополз. Через несколько метров остановился, оглянулся—может, хватит? Но сержант был неумолим. И Карабай пополз дальше, вдыхая едкую пыль.

Терпение солдат кончилось.

— Скажи, где это вырос твой брат? — спросил один, явно издеваясь.

Апсамат покрылся потом. Не от жары, от злости.

Карабая было не узнать. Мокрая гимнастерка вся в грязных пятнах. Лицо черное от прилипшей пыли. Он стал все чаще оглядываться. Но сержант, видно, увлекся педагогикой: он давал наглядный урок. Посматривая то на Карабая, то на солдат, он всем своим видом говорил: так будет с каждым, кто не захочет выполнять команду.

Карабай к тому времени отполз довольно далеко и, думая, что теперь сержант не увидит, побежал на четвереньках. Сержант действительно сперва ничего не

заметил. Но потом резкие движения Карабая показались ему подозрительными. Он подбежал к солдату.

— Не прыгай, осел! Не прыгай!

Тут уж Апсамат не выдержал. Сам не помнит, как очутился около сержанта.

— Зачем человека оскорбляешь? — крикнул дрожащим голосом.

— Что? — удивился сержант. — А ну, марш на место!

Апсамат помедлил. Казалось, он готов был драться. Тут подошел взводный. Он все видел.

— Что за базар?

— Смирно! — закричал сержант, увидев взводного.

Апсамат направился было в строй, но взводный остановил его.

— За пререкания с командиром — трое суток ареста!

Апсамат вместе со своей обидой очутился в большом железнодорожном контейнере, который невесть откуда притащили в лагерь.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО К ГУЛЬШАН

«... Дни коротаю воспоминаниями. В мыслях несколько раз прошел всю свою жизнь, она оказалась очень короткой. Думаю о людях. Я не понимаю ни себя, ни других. Раньше думал, что понимаю, а, оказывается, нет. Раньше думал, что мир таков, каким его себе представляю, а он — другой, непонятный. Когда думаю об этом, мне становится грустно. Я очень тоскую по тебе, моя Гульшан. Раньше думал тоска — это печаль души... Нет, не только души. Я чувствую тоску телом, всем существом... Другие прощаются,вдоволь насытившись чувством. А мы с тобой?..»

В день отправки все призывники съехались в райцентр. А потом их выстроили и повели к станции. Они

шли длинной вереницей по ущелью, а провожающие их родственники плачущей толпой тянулись вслед за ними. «Пусть бог вас хранит»,— шептали старухи. Молодые женщины, спотыкаясь, бежали вдоль строя, высоко над головой поднимали маленьких детей.

— Посмотри на него в последний раз! — кричали они и, теряя силы, отставали.

— Прощайте! Хватит провожать! — кричали солдаты.

Мать и отец Апсамата отстали сразу за селом. Отец смотрел в землю, мать — куда-то вдаль, в конец солдатской дороги. Она смотрела немигающими застывшими глазами, крепко сжимала губы и механически кивала головой. Апсамат сдерживал себя, слушая разноголосый плач, но и его сердце дрогнуло, когда он увидел этот отрешенный взгляд матери, ее дрожащий подбородок. Ее ничего не видящие глаза, казалось, видели очень далеко, видели его тяжкий суровый путь, и неожиданный страх прополз по спине Апсамата. Ему захотелось заткнуть уши, чтобы не слышать голосов, которые раздавались вокруг. Теперь он смотрел вперед и только вперед. Но хватило его не надолго. Что-то тянуло его за шиворот, шептало: «Оглянись». И тогда он начал верить в невозможное: а вдруг Гульшан, его девушка Гульшан, с которой он только вчера прощался в родном аиле, приехала сюда, чтобы проводить его. Гульшан не постыдится сплетен, она может приехать, она, наверное, приехала. Неужели она здесь? И Апсамат с надеждой оглянулся. Если бы он ее увидел, он выскочил бы из строя и, не стесняясь людей, обнял бы ее, припал бы к ее груди. Он еще раз оглянулся и начал шарить глазами по толпе. Да, она могла бы приехать, могла бы ничего не говорить родителям и тайком вместе с джене приехать в район. Так оно и есть — она приехала, но опоздала, приехала, когда их уже отправили, а теперь, наверное, запыхавшись бежит за ними. Он поверил своим мыслям и начал оглядываться. Колонна вышла из ущелья, народ остался

позади. Взгляд Апсамата скользил по белым элечекам, белым колпакам, разноцветным платкам... и вдруг упал на красную косынку.

— Гульшан!

Да, это она, Гульшан, у нее именно такая косынка. Вот она что-то говорит рядом стоящей женщине и показывает в сторону колонны.

Апсамат растерялся, остановился. Идущий за ним парень налетел на него. Апсамат, спотыкаясь о ноги товарищей, выскочил из строя и побежал назад, к Гульшан. Раздался окрик командира. Апсамат бросил через плечо: «Я сейчас!» — и побежал дальше. В глазах мелькали телеграфные столбы. «Гульшан, милая Гульшан, неужели ты пришла сюда?» — думал он.

Добежав до красной косынки, он увидел толстую молодую женщину с грудным ребенком на руках. Она громко рыдала. Когда Апсамат оказался совсем рядом, она повернулась и пошла прочь. Апсамат остановился, будто его ударили в грудь. Он стоял ошеломленный и не знал, что делать: бежать назад или идти искать Гульшан. Но голос командира вывел его из оцепенения, и он побежал за колонной, которая змейкой ползла впереди, поднимая облако пыли.

Вечером их посадили в поезд. Они с трудом разместились на двухэтажных нарах в товарных вагонах. Было жарко, душно. После тоннеля поезд шел по равнине, они встали с нар и сели на пол у открытых дверей.

Апсамат увидел вдали под горой свой аил. Сердце заныло. Еще сегодня утром он был там, и теперь он далеко, бесконечно далеко. Апсамат смотрел на тот клочок земли, смотрел не отрываясь, а он удалялся, уплывал и скрылся за желтыми холмами. Теперь только горы, высоко вскинув могучие плечи, смотрели им вслед. Солнце дошло до края равнины, оно ярко пламенело, было круглым, красным, как отверстие печи. Поезд шел на за-

пад. Черный паровоз, казалось, спешил прямо в эту печь.

Ребята смотрели на горы, которые были похожи на тех, кто их провожал, на толпу в белых элечеках, белых колпаках, белых платках. Горы, подняв белые головы, прощались с уходящим поездом.

Солнце свалилось в пропасть. Горы показались еще более величественными. Взгляд Апсамата упал на розовую, почти красную вершину, и сердце его часто забилось. Гульшан! Гульшан в красной косынке среди гор. Стоит и смотрит ему вслед. Эта вершина была знакома с детства, она хорошо видна из их аила. Апсамат старался не потерять ее в сгущающихся сумерках, смотрел, не отрываясь... И не заметил, как потерял ее, потерял в одно мгновение. Напрягая зрение, он начал ее искать, но поезд круто повернул. «Все!» — сказал Апсамат со вздохом. Что-то в нем оборвалось. Что-то осталось в этих горах.

ВТОРОЕ ПИСЬМО К ГУЛЬШАН

«... Не могу понять, что за человек наш сержант. После той стычки между нами установились прохладные отношения. А может, это мне кажется. Иногда он грубый, высокомерный, а иногда — простой, даже, мне кажется, душевный. Я чувствую его превосходство, подчиняюсь его воле. В каждой группе людей кто-то всегда бывает первым, а другим достаются вторые и третьи роли. Знаешь, Гульшан, я часто теперь вспоминаю школу, ведь я привык верховодить, в школе я был первым. И здесь мне не хотелось уходить на второй план. Но все, что я ни делаю, вызывает у солдат то смех, то презрение. Это меня мучает...»

«...Мама, ты это, наверное, помнишь. Когда я был маленьким, вы с отцом купили мне жеребенка. На другую весну он стал крепким двухлетком, и я начал на нем ездить. Ребята не отставали от меня, просили покатать. Но мне хотелось, чтобы только я один среди всех имел жеребенка и только я один на нем ездил. Никого не катал, никому не давал покататься. Ребята отстали. А я? Не ездить же весь день на жеребенке! Я пошел играть к ним. Но меня не приняли, прогнали. И тогда я потребовал у вас с отцом, чтобы жеребенка продали. И вы его продали. А когда новый хозяин уводил его, я горько плакал».

Все небо в звездах. Луны нет. Ожидая восхода луны, все затихло, затаилось. Перед траншеей темнеет длинная полоса леса. Над лесом — белый свет: вот-вот взойдет луна. За лесом иногда взлетает ракета и надолго повисает в небе. Это — осветительные ракеты, у них холодный яркий свет. Тело будто ждет чего-то и с каждой яркой вспышкой вздрагивает. Тьма расступается, но как только ракета погаснет, делается еще гуще.

В лесу мертвая тишина: то ли нет в нем ничего живого, то ли, что было — разбежалось в испуге. Чистый запах осеннего леса бодрит, отгоняет сон.

Апсамат сидит в окопе, обняв винтовку, и смотрит в небо. Аильское небо, опрокинутое на острые вершины гор, было небольшим. А это и высокое, и широкое — неоглядное, нет ему ни конца ни края.

Над лесом восходит луна. Вспоминается Гульшан. Много раз сидели они под яблоней в обнимку и встречали восход луны. Он не помнит, были те ночи такими же тихими, или тишину нарушал лай собак. Луну они встречали молча. Гульшан не разрешала ему много го-

ворить о любви, она считала, что молчание выразительнее слов. Они говорили о пустяках, обнимались, а потом молча ждали луну. Она восходила медленно, восходила только для них. Ему луна казалась матерью, которая добродушно смотрит, как он ведет Гульшан в свой дом... Как много думал он об этом счастливом дне!

Этот восход луны особенно тих и грозен. Кажется, все вокруг вымерло. Вспомнились слова Карабая, которые тот сказал вечером: «Будем ли мы завтра живы в это время?..» Они уже несколько дней на передовой, но до сих пор он не чувствовал страха. Ему вдруг стало очень одиноко, и он решил крикнуть Карабая, который сидел в соседнем окопе. Но в это время подошел сержант. Апсамат обрадовался, что рядом появился живой человек.

— Что, сон никак не идет? — спросил сержант, посмеиваясь над их общей бедой.

— Хоть кричи его — сегодня все равно не придет,— ответил Апсамат.

Сержант подсел к нему.

— Да-а... чертовски курить охота. — Он пошарил по карманам, но не закурил: было запрещено. Потарахтел спичками и успокоился, будто накурился. Потом сказал: — Моя мать там, в оккупации.

Апсамату стало жаль его, но он не нашел ободряющих слов, все слова казались ему стертыми и могли, подумал он, прозвучать неискренне.

Оба умолкли, каждый погруженный в свои думы. И вдруг сержант с силой положил руку Апсамату на плечо.

— Скажи, почему ты ходишь будто чужой среди нас? — спросил он в упор.

Апсамат растерялся, словно, у него вдруг вырвали тайну. Но промолчать, признать поражение он не хотел. И буркнул:

— Это ты так думаешь.

— Э, брат, я думал, ты прямой... — Сержант усмехнулся.

Апсамат не смог ответить и помрачнел. Он понимал, что выглядит глупо, но ничего не мог с собой сделать. Сержант это заметил.

— Обойду отделение и вернусь,— сказал он.

Апсамат чувствовал, что побежден, но даже себе не мог в этом признаться. Однако вопрос сержанта заставил его задуматься.

Он вспомнил ту ночь, когда паровоз мчал их на запад, а он смотрел на родные горы, прощался с ними. Когда озяб — отошел от раскрытых дверей и залез наверх, на нары и, положив под голову ладони, начал разглядывать сумрачный потолок теплушки. Он чувствовал себя неприкаянным, ото всего оторванным: он был отторгнут от прежней судьбы, от родного аила, а до новой судьбы, которая ждала его в этом сыром окопчике, было еще далеко. Он вроде бы висел в пространстве.

Вдруг внизу раздался дружный смех. Апсамат вздрогнул: уж не над ним ли? Насторожился. Нет, на него никто не обращал внимания. Просто рассказывали что-то веселое и смеялись. Его удивила эта веселость. Как можно сейчас смеяться! Будто их везут на пирушку! Он прислушался. Ребята бубнили негромко, но все было понятно: вспоминали веселые дни дома, выпивки, встречи с женщинами, строптивых молодух, с которыми были близки... Короче, этой ночью они открыто говорили о том, что обычно держали в тайниках души. Эти джигиты только сегодня попрощались со своими родственниками, женами, любимыми девушками, и вот уже обо всем, казалось, забыли, балагурят, смеются...

Не смог он тогда спрыгнуть с нар, войти в их разговор. Так и до сих пор не может войти в их круг. Он отбился от ребят, они стали его обходить. Он замкнулся, стал все чаще думать о Гульшан, об аиле...

Теперь он пытался вникнуть в причины своей отчуж-

денности, но правда ему не нравилась, и он обманывал себя тем, что солдаты сами отгораживаются от него, и что же ему остается делать...

Над лесом взвилась ракета, она вспыхнула прямо возле луны, показалось, что это не ракета, а белый снаряд, он попал в луну и вдребезги ее разбил, и холодные осколки ее сейчас посыпятся на землю, и все погрузится в сплошную тьму. Апсамат передернул плечами. Но ракета рассыпалась сама, а луна с удивлением смотрела на гаснущие брызги.

Вернулся сержант. Апсамат обрадовался: отойдут тяжелые мысли. Посидели немного молча. Потом заговорил сержант. Оказалось,у него была любимая девушка, которая вышла за другого.

— А у тебя есть девушка?

— Есть.

— Ты веришь ей?

— Верю.

— Это хорошо... А я своей и раньше не верил. Какой-то она была... озорной, что ли. Я думал, что девичий характер, обожал ее за озорство. Хорошо, что ушла с другим еще при мне. Если бы сейчас изменила... — И он резко махнул рукой. Видно, девушка та до сих пор жила в его сердце.

Потом он снова вспомнил о матери.

— Бедная мама, за всю жизнь ничего хорошего не видела, состарилась в заботах обо мне, чтобы я человеком стал. Говорила: вырастешь, сынок, совьешь свое гнездышко, тогда и я отдохну возле вас. Я вырос, и вот — началось. Не знаю, что этим зверям надо на нашей земле... Говорят, они насилуют наших девушек, угоняют в рабство... какое зверство!

Сержант снова пошарил по карманам, снова потарахтел спичками, сплюнул и успокоился. Вскоре он ушел.

Тихая, насторожившаяся, непонятная ночь. Ракеты взлетают все реже, Апсамат к ним привык. Долго не

удавалось уснуть. К рассвету задремал. Приснилась Гульшан. Они сидели почему-то над оврагом, молчали. Вокруг тишина, непонятно — день или ночь.

— Почему молчишь? — спросил Апсамат.

Гульшан понурилась, смотрит в землю. Оглядел ее Апсамат с ног до головы и видит: нет на ней красной косынки.

— Где твоя косынка?

Она мнется, запинается, говорит сквозь слезы:

— Потеряла, когда ты ушел.

Ему кажется, это дурная примета, он сердится, хочет сказать ей что-нибудь резкое, но слова пропали...

Все исчезает, нет ни Гульшан, ни оврага, он ищет по аилу злого обидчика. Он знает, что косынку Гульшан кто-то забрал, но кто? Знакомый? Незнакомый? Вот он, тот, кого Апсамат искал. Широкоплечий человек, обмахиваясь красной косынкой, как платком, спокойно входит во двор Гульшан. Апсамат бежит следом. «Эй, вернись!» Но тот даже не оборачивается. Идет широко, свободно, как к себе. Апсамат хочет догнать его, рвануть за шиворот, но тут выскакивает огромный цепной пес. «Взять!» — кричит Апсамат пересохшим горлом, и голоса его почти не слышно. Человек идет мимо пса, даже не взглянув на него, а пес лижет его, как своего, и бросается, гремя цепью, на Апсамата. Апсамат отскакивает и думает, что цепь сейчас кончится и пес повиснет на миг на ошейнике, но цепь тянется и тянется, и пес со страшным храпом прыгает ему на грудь. Апсамат падает...

Ударившись затылком о спинку окопа, Апсамат вскочил на ноги. Весь мир был охвачен грохотом и громом, земля вздрагивала. Огромное черное дерево из пыли и дыма тянулось от земли до самого неба.

«...Потом я понял, что не так страшна сама смерть, сколько думы о ней».

«Вот и война»,— подумал Апсамат. А он все еще не был к ней готов, хотя знал, что в любую минуту она для него может начаться. Взрывы раздавались со всех сторон. Заложило уши.

— В блинда-аж!

Апсамат стоял ошеломленный, и значение команды до него дошло не сразу. Кто-то сзади рванул его за полу шинели, Апсамат обернулся — сержант. Он что-то прокричал и поволок Апсамата. Солдаты, пригибаясь, бежали по траншее и скрывались в блиндаже.

Там было темно. Грохот и взрывы остались за накатом. Теперь они превратились в сплошной гул. С потолка прямо за шиворот сыпался песок. Все взоры устремились в потолок: выдержат ли толстые бревна наката, если будет прямое попадание?

Артподготовка длилась долго. Дрожала земля. Дрожало все на земле. Внезапно обстрел прекратился, стало тихо, тихо. Солдаты уже успели привыкнуть к гулу взрывов и теперь изумленно смотрели друг на друга. Послышались голоса. Все устремились наружу.

Вокруг все стало серым от густой пыли. Траншеи и ячейки обвалились. Слышны были торопливые голоса командиров. И вдруг со стороны леса донесся рокот. «Танки!» — подумал Апсамат. Рокот усиливался, быстро приближался. Опять посыпались снаряды и мины. Сзади ответили наши пушки. Снова над землей повис грозный гул. Но рев танков перекрывал все звуки и нарастал каждую секунду. Апсамат положил винтовку на бруствер и втянул голову в плечи. Но потом подумал, что так

может не заметить подошедший танк, и начал осторожно выглядывать.

В это время сзади взошло солнце. Его острые лучи пронзили всю пыль впереди и растянули перед Апсаматом сплошную серебристую паутину. Апсамат обрадовался. Ему подумалось, что ползущая на него смерть спасует перед солнечными кучами и повернет обратно. Он поднял голову, и тут же что-то чиркнуло по макушке каски.

Из глубины лучистой паутины в это время показались танки. Они плевались огнем, были грязны и очень подвижны.

Апсамат почти бессознательно нажал на спусковой крючок. Приклад толкнул в плечо, но почудилось, будто пуля стукнулась о бронированный лоб танка, вернулась назад и толкнула в плечо.

Со спин танков начали спрыгивать люди. Они бежали цепями, прячась за стальными громадами. На бруствер посыпались пули. Апсамат невольно закрыл глаза. И тогда ему почудилось, что танк совсем рядом. Он открыл глаза. Два танка поворачивались на месте, над ними вскипал черный дым. Солдаты, которые прятались за ними, побежали к траншее, стреляя на ходу из автоматов. До Апсамата долетали непонятные выкрики. Один солдат бежал прямо на него. До этого Апсамат стрелял наудачу, куда попадет, а теперь взял на мушку этого солдата. «Хоть бы попала!» — прошептал он и выстрелил. Тот упал. Но Апсамат не почувствовал отдачи. Оказалось, расстрелял всю обойму. Дрожащими руками начал вставлять новую. Она не лезла в паз, Апсамат спешил и все думал: «Почему упал немец? Какая пуля его сразила?» Наконец зарядил, выглянул из траншеи и увидел, что тот солдат снова, хоть и не быстро, но бежит на него, бежит с раскрытым ртом. Апсамат снова прицелился, не выстрелить не успел: солдат выронил автомат и грохнулся. От радости Апсамат вскрикнул.

Танки были уже совсем рядом. Один из них, словно бешеный бык, наклонив вниз пушку, будто хотел ею забодать, прыгал по ухабам, направляясь прямо на Апсамата. Сердце его поднялось к горлу. Неумолимое чудище вот-вот раздавит. Апсамат растерялся. Что делать? Стрелять или ложиться? Он чуть не застонал от чувства беспомощности, беззащитности перед неуязвимым железным зверем, которого ничем, ну ничем не остановить! Но танк вдруг остановился, накренился на бок, гусеница его загремела и вытянулась, с боков и сверху хлынула черная копоть. Люк башни с лязгом открылся и оттуда начали выскакивать испуганные фрицы. Те, что бежали цепочками под прикрытием танков, уже почти все лежали, уткнувшись в землю. Апсамат направил винтовку на люк танка. Теперь он торопился, чтобы никто его не опередил. Вот фашист вылез из люка. Только он хотел прыгать, Апсамат выстрелил. Фриц, широко раскинув руки, откинулся назад и упал в черный клубящийся дым.

— А-га-а! — захлебываясь от радости, заорал Апсамат и облизал губы, сухие, с привкусом гари.

Никогда в нем не было столько яростного задора. Ему показалось, что все вокруг с восхищением смотрят на него, меткого стрелка. Он огляделся. На него никто не смотрел.

Все глаза устремлены на врага. То там, то тут вспыхивают танки. Некоторые не выдерживают, откатываются к лесу. Редкие солдаты, прыгая как зайцы, пригибаясь, падая, вскакивая, бегут назад. Отступают!

Справа послышалось раскатистое «ура!» — соседи пошли в контратаку.

И вдруг совсем рядом — решительное «ура!». Апсамат даже вздрогнул. Это кричал сержант. Он один выскочил из траншеи и рванулся вперед. И тут же за ним побежали остальные. Окрестность огласилась мощным раскатистым криком. Апсамат даже не помнит, какая сила вышвырнула его из траншеи. Он бежал и видел

удиравшие танки, повернувшие назад свои орудия и стрелявшие на ходу, видел неудержимо бегущего вперед сержанта; он забыл обо всем и стремился лишь к одному: догнать сержанта, не отставать от него.

Их разделяло уже каких-нибудь тридцать метров. И вдруг почти у самых ног сержанта земля взлетела вверх. Апсамат откинулся назад, будто на бегу ударился грудью о невидимую стенку. В сознании еще звучали крики людей, рев танков, треск выстрелов, а потом все сразу стихло.

Когда Апсамат открыл глаза, кругом была зловещая, глухая тишина. Он сразу не понял, где находится. Осторожно огляделся. Над головой небо, он лежит на земле, невдалеке дымит танк. «Может быть, я ранен?» Но боли он не чувствовал. «Я слышал, что перед смертью человек не чувствует боли. Наверное, я умираю... Но почему я думаю?.. Да, ведь говорят, у человека перед смертью сознание бывает ясное...» И он стал ждать, когда смерть начнет заволакивать его сознание, закрывать его глаза. И тут же испугался. Неужели вот сейчас, прямо сейчас он сгинет и больше никогда его не будет? Нет, нет! Все в нем забурлило, запротестовало, взбунтовалось, он захотел пружинисто вскочить на ноги... Но сначала пошевелил пальцами, потрогал землю, потом подтянул ноги — свои, послушные, живые. Приподнялся. Нигде не болит. Но почему такая глубокая тишина? Он не слышит, как шевелится, не слышит шороха, который сам производит. Ничего не понимая, он приподнялся, сел, помотал головой. За шиворот с головы посыпалась земля, но он и теперь ничего не слышал. Распрямился. Тело было свинцово-тяжелым, дрожащие ноги едва держали его. Он не узнавал местность, будто привезли его сюда с завязанными глазами, оглушили и бросили.

Повсюду распластавшись лежали люди. Некоторые молча шевелились. Глаза Апсамата остановились на воронке. Там был человек, до половины засыпанный тяже-

лой землей. Одна рука закинута за голову, щеки в крови, голова тихонько шевелилась.

Апсамат опять в первый миг ничего не понял, удивился. Посмотрел по сторонам, будто кто-то что-то мог ему объяснить. Но вокруг лежали убитые. Апсамату стало муторно, захотелось уйти отсюда подальше. Но человек, заваленный по пояс, тот, у которого чуть-чуть поворачивалась голова, заставил его снова на себя посмотреть. Апсамат побрел к нему. Он шел так, будто его только что поймали, схватили за шиворот и волокли посмотреть странное зрелище, от которого он хотел удрать.

Это был сержант. Глазами, полными мольбы, смотрел он на Апсамата, но сказать ничего не мог. Апсамату показалось, что у сержанта только половина тела, а той половины, которая завалена землей, нет, под землей ничего нет! Остолбенело стоял он перед сержантом и не знал, что делать. В это время в ухе его что-то треснуло, будто лопнула перепонка, и сразу все поле боя заговорило стонами и мольбами о помощи. Лицо сержанта бледнело, становилось землисто-серым. Он мучительно хотел что-то сказать, но губы едва шевелились, звука не было.

Апсамат пришел в себя. Встав на колени, он начал руками сгребать с сержанта тяжелые комья. Сержант жалобно застонал, напрягся, уперся затылком в землю. Апсамат старался скорее сгрести с него груз, но сержант снова застонал и замотал головой, мол, не надо. Апсамат остановился, ему стало страшно: сержант умирал. Стоны его усилились, а потом он вдруг притих и тоскливо посмотрел на Апсамата. Этим взглядом сержант корил его за беспомощность, за неспособность спасти, вытащить из земли, вырвать из лап смерти. Апсамат не вынес взгляда и отвернулся.

В это время со стороны леса снова взревели танки, возобновилась канонада. Поредевшие цепи наших солдат,

которые недавно шли в контратаку, теперь беспорядочно отступали. Перерезая им путь, начали плюхаться мины. Апсамат окончательно пришел в себя. Сейчас ухнет сюда мина, подумал он, и зароет его в землю, как сержанта. Вздрогнув от этой мысли, он побежал. Потом остановился, оглянулся: сержант лежал неподвижно и смотрел в небо немигающими глазами. Наверное, мертв, решил Апсамат. А вдруг нет? Он захотел вернуться, но над головой просвистела мина, и Апсамат не рискнул возвращаться, побежал вместе с отступающими. Взрывы, казалось, гнались за ним, возникали почти за его спиной, и он что было мочи бежал от них подальше.

Во второй половине дня, не дав нашим опомниться, немцы снова пошли в наступление. Пришлось отступить. В сумерках солдаты брели по молодому леску, брели усталые, оборванные, грязные, наспех перевязанные, в пропитавшихся кровью бинтах, злые, потерявшие половину своих товарищей. В горле у всех першило от гари, дыма, быстрой ходьбы; ноги шли тяжело, непослушно, тело ныло. Все молчали, будто шли с похорон, слышно было как похрустывают ветки под сапогами.

После гибели сержанта этот мир стал для Апсамата чужим. Ему захотелось махнуть рукой и уйти из него. Все было противным. Недавно громыхавшие зловещими гусеницами грозные танки уже отдымились, отгорели, лежали грудами остывающего железа. Но злость к ним не прошла, хотелось разбросать эти груды на мелкие кусочки. Санитары подбирали раненых.

Апсамат видел убитых. Их не собирали — не было сил. Он старался не смотреть на них, сердце стыло, он спешил поскорее уйти. И они уходили все дальше и дальше от поля боя; убитые остались где-то вдали, в темноте. Апсамату показалось, что война кончилась, а на это проклятое поле больше никогда не ступит нога человека.

«Мама, я хочу написать тебе обо всем, тебе одной, написать, ничего не скрывая, ни в чем не оправдываясь... не зря говорят: от счастья до беды один шаг. Мне и во сне не могло присниться, что я провалюсь в эту пропасть...»

Он решил удрать.

Мысль эта явилась как-то вдруг, неожиданно.

Измученные солдаты, оставив позицию, уныло брели на восток. Они мечтали об отдыхе. И вот, выйдя на открытую поляну, они увидели впереди себя новый рубеж обороны: солдаты в сумерках поспешно рыли окопы. Апсамата снова замутило: покоя не будет, надо рыть... И он начал рыть. Опустилась густая ночь, солдаты притихли, Апсамата охватил непонятный страх, почудилось, будто он все еще сидит около убитого сержанта, все еще силится его откопать, он должен, обязан его спасти и унести, но нет сил откопать и нет сил бросить его одного в этой безмерной ночи, в пустынном поле, с которого все мертвецы давно встали и ушли, и они вдвоем с сержантом, только вдвоем, а он, Апсамат, такой слабый и беспомощный...

Ночь, сгущаясь и тяжелея, давит непомерным грузом, вот-вот задушит. И вдруг на ум пришла буханка хлеба Карабая.

Вечером, когда он кое-как докапывал свой окоп, Карабай принес ужин на двоих и целую буханку хлеба.

— Списки еще не готовы. Я прихватил ужин на двух убитых,— спокойно, как бы между прочим сказал он.

Апсамат поперхнулся. Вкусный борщ уже не лез в горло. В ушах зазвенело, будто закричали убитые. Захотелось ударить Карабая котелком по башке, но он

сдержался. Со злости отставил котелок, прилег возле окопа.

И вот теперь вспомнил тот хлеб. Показалось, что он давно хотел сбежать, но чего-то не хватало. Теперь это «что-то» нашлось. Хлеб! Теперь можно уходить. Он легко вскочил на ноги, подошел к окопу Карабая. Усталости как не бывало. От возбуждения тряслись колени.

Куда идти, еще не решил. Лишь бы уйти отсюда, а там — куда глаза глядят... Уйти подальше от траншей, уйти в лес, там тихо, там не найдут. Сержант говорил, что здесь недалеко станция. Надо добраться до станции. Но к самой станции подходить нельзя... Надо подождать поезд, а потом прицепиться на ходу. Лишь бы не заблудиться в лесу. Надо идти прямо. Сержант говорил, что станция в той стороне... Вчера сержант был жив, говорил с ним. Бедняга хотел покурить, но так и погиб, не накурившись...

Карабай спал, свернувшись на дне окопа. Апсамат осторожно развязал его вещмешок. Надо постараться не разбудить Карабая, думал он. Надо уйти одному, быть в лесу одному, всюду одному.

Вот он, хлеб. Апсамат вспомнил, что это — паек двух убитых. «Хлеб — благополучие человека. Пусть меня поддержит дух умерших», — подумал он, но руки все равно задрожали.

Он вернулся на свое место, взял вещмешок, винтовку, прислушался. Тишина. Слышно только, как гулко стучит собственное сердце. В горле пересохло. Кругом так тихо, будто все солдаты нарочно притаились и следят за ним. Показалось даже, что за его спиной лежит сержант и пристально смотрит ему в затылок. По спине побежали мурашки. Если он еще немного постоит в нерешительности — уйти не сможет, он хорошо знал себя. Надо сделать хоть раз в жизни решительный шаг. И, упрямо мотнув головой, он отвернулся от траншеи и пошел в тыл.

«Дай мне, господи, доброго пути... О господи, если я уйду благополучно, я уверую в тебя, буду молиться, преклоняться...»

Он удивился, что эта мысль его поддержала, пожалел, что не верил до сих пор.

Он шел быстро, напористо и скоро вышел на открытое место. Луны еще не было. Ночной воздух бодрил. Апсамат ускорил шаг. Он шел так решительно и целеустремленно, будто спешил на встречу с человеком, которого давно хотел увидеть. Надо найти рельсы, а там он ухватится на ходу...

Снова лес. Апсамат тяжело дышал. Он остановился отдохнуть, перевести дыхание. Теперь он далеко, никто его не найдет. Он оглянулся. Ничего не слышно. Никакого переполоха там, конечно, нет, никто и не заметил, что его не стало. Завтра заметят, но откуда они узнают, что он убежал? Подумают, что он убит в том бою и все.

Эта мысль его успокоила, даже обрадовала, стало совсем легко, будто с плеч свалился большой груз. Думать уже ни о чем не хотелось, и он шагал с ощущением впервые в жизни полученной неограниченной свободы. Хотелось, чтобы эта свобода длилась как можно дольше.

Раньше он никогда не был в лесу один, поэтому и представить себе не мог, какая тут бывает тишина. Особенно разительной она казалась после ада дневного боя.

Чем дальше уходил Апсамат, тем лес становился гуще и темнее. Пришлось идти медленно, с вытянутыми вперед руками, чтобы не налететь на дерево лбом. И все-таки в этой непроглядной тьме ему было спокойно и легко, он пошел тихо, задумчиво. Лишь бы его никто не увидел, лишь бы не нарушили его уединения. Так бы и бродил по лесу, так бы и бродил... Благодать. Вечно бы вот так, одному среди деревьев! Скучал бы, конечно, по Гульшан. А может, и ее постепенно забыл

бы. Но как жить в лесу? Ведь надо что-то есть. Неразрешимая проблема.

Развлекаясь такими мыслями, он долго шел, шел в неизвестность, и по-прежнему было тихо и темно. Ему подумалось, что он спускается в пропасть.

Когда кончились мечты, в ушах зазвенело. Стали неслышны даже собственные шаги. Показалось, что он не идет, а топчется на месте, окутанный звенящими звуками. Может, он оглох? Почему до сих пор не слышно крика паровоза?

Он вскинул голову, помотал ею. Все равно звон. Мир сжался в комок. Он один в этом мире, в жуткой темноте, как в глубокой могиле. В тесноте могилы мечется его испуганное сердце. Заблудился? Ведь не зря говорят, что бывает лес без конца и края. Куда идти дальше? Звезд не видно. Наверху не небо, а черная бездна. Возле громадных сосен он показался себе маленьким беспомощным червяком.

Прислонившись к сосне, он долго стоял и смотрел ввысь, в черноту. Потом подумал, что из этого леса он уже никогда не выберется. Сегодняшнее немецкое наступление, танки, наша контратака, бой, взрывы, крики раненых, смерть сержанта — все это было сущим адом, и все-таки там он был среди людей, а здесь он один, навсегда один, как в могиле... Сердце его охватила холодная дрожь, сознание затуманилось. Кто он такой? Правда ли что он жив, что он живет в этом мире? А может быть, все ложь, и нет ни его, ни этого мира? А разве не все равно, есть он или нет, есть мир или нет?..

Только теперь, расслабившись, Апсамат почувствовал страшную, неодолимую усталость. Он буквально валился с ног. Хотелось лечь и спать, спать не просыпаясь, и ничего не слышать. Он сел, прислонившись спиной к сосне. Голова упала на грудь. Свинцовая тяжесть кло-

нила его к земле. Он не хотел сопротивляться сну, никакой цели уже не было.

Но сон не шел. Тело готово было распластаться на земле, а сердце все никак не могло успокоиться, оно билось так же часто и тревожно, как в первые минуты побега. Нет, надо идти. Но почему не гудит паровоз?

«За этим лесом есть станция». Так сказал сержант. Теперь эти слова послышались Апсамату совершенно явственно, он даже вздрогнул и подумал, что если обернется — увидит заваленного по пояс сержанта. Нет, нет, нельзя поддаваться страху, это от голода, ведь он с утра ничего не ел, да еще так устал. Надо поесть хлеба, набраться сил. А там и паровоз крикнет.

Он повалился на бок, чтобы легче было отвязать вещмешок. Локоть его уперся в мягкий живот трупа. Апсамат вскрикнул. По телу побежала дрожь, она достигла ушей, и они наполнились шумом и звоном. Апсамат хотел встать, но сил не было, и он продолжал сидеть, обхватив голову руками. А шум нарастал, голоса приближались со всех сторон... Наверное, это убитые сегодня солдаты бродили по лесу, а теперь все бегут к нему. Они шумят и кричат наперебой лишь одно слово: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!»

Вдруг совсем рядом раздался душераздирающий крик. Апсамат не заметил, как вскочил на ноги. Но держался он слабо и упал, упал прямо на мертвеца. «Это мягкий сгнивший пень»,— подсказало сознание. «Это мертвец! Это сержант!» — кричали ему прямо в уши страшные голоса. Это невозможно было вытерпеть. Он опять вскочил, побежал. Мертвецы окружили его, шумели, кричали, не давали бежать, хватали за ноги, за руки, щелкали по лицу длинными холодными пальцами, похожими на ветки. Все они, конечно, хотели его поймать. Поэтому он петлял, увертывался, бежал то вправо, то влево... Страшный вопль повторился. На этот раз — прямо за его спиной. «Это паровоз»! — шепнуло созна-

ние. «Нет, это командир мертвецов!» — ответил страх. Апсамат чувствовал, что мертвецы бегут за ним по пятам, он ощущал затылком ледяное дыхание, уверен был, что сейчас в него вцепятся холодные пальцы. От них некуда было скрыться! И тут явилась спасительная мысль: хлеб! Мертвецам нужен хлеб. Апсамат снял на бегу вещмешок и бросил его. И сразу жуткие голоса отстали: мертвецы, видимо, сгрудились вокруг хлеба.

Вскоре лес поредел. «Господи, помоги мне вернуться назад к ребятам, и я уверую в тебя!» — шептал Апсамат. Он выскочил на открытую местность. Черный лес был позади. Но Апсамат и теперь не остановился. Здесь пахло гарью, пылью, дымом. Эти запахи показались ему близкими, словно запахи родного аила. Они обрадовали его, и он зашагал легко, будто скинул с плеч тяжелый груз. Как хорошо, сейчас он придет к своим! И вдруг почувствовал, что на плече нет винтовки, где она? Оставил в траншее или потерял в лесу? Брал ее с собой или не брал? — Не мог вспомнить. Но он был рад, что вырвался из этого черного леса, и поэтому на винтокву махнул рукой. Он вернется без винтовки. Придет и расскажет всю правду. И попросит прощения. А не простят — и поделом...

Апсамат не узнавал местность, куда вышел. Траншеи, от которой ушел, не было видно, нигде никаких голосов.. И все-таки он не останавливался. Раз уж решил во всем признаться, то теперь не страшно, даже если попадет в другую часть. Вдруг впереди послышался шорох и вроде бы даже голоса. Апсамат невольно вздрогнул. Куда он попал? Что за голоса? Наверное, он дошел до траншеи. Этой мыслью он себя успокоил.

А может, и не надо сразу во всем признаваться. Ведь он ушел совсем недавно. Откуда там знают, когда, куда? Может быть, удастся сделать вид, будто и не уходил, просто винтовку потерял и все. Почему не в траншее? Просто отошел не так далеко, под куст...

Такой поворот ему понравился, и чтобы создать вид, будто действительно ходил под куст, он снял ремень, лязгнул бляхой, беззаботно кашлянул. И все же ноги его дрожали. Это не от страха, сказал он себе, это оттого, что очень уж сегодня устал, измучился.

Прямо на голоса он не пошел, свернул немного в сторону. Он даже не оглядывался: как бы не увидели, что он чем-то обеспокоен, как бы не заподозрили в чем-нибудь. Неожиданно перед ним выросли две высокие плотные фигуры. Наверное, дозорные, решил Апсамат и хотел их обойти, но они преградили путь и крепко схватили с двух сторон.

— Да что вы? Я свой! — торопливо забормотал он.

Но те молча и быстро скрутили ему руки назад, один зажал рот вонючей от ружейного масла ладонью, да так зажал, что челюсти хрустнули. Апсамат застонал. Крепкая рука еще сильнее сжала рот. «Кто они? Неужели?..» — от страшной догадки он похолодел.

Потом эти двое очень быстро и ловко связали ему руки и ноги веревками, а в рот сунули тряпку. Апсамат упал. Голову и шею еще чем-то обмотали, подхватили его как бревно, и куда-то понесли.

А он лихорадочно думал, он пытался выдумать что-нибудь успокоительное. Нет, это, конечно, не немцы, это наши. Во взводе заметили побег и послали этих двух, чтобы его поймать. Зря они так набросились, ведь он сам шел, чтобы во всем признаться и понести заслуженное наказание. Плохо, что они приволокут его связанным, там могут подумать, что он сопротивлялся, не хотел идти, а он ведь сам шел. Такой вид может усугубить вину, наказание... Что ему за это дадут? А вдруг — к высшей мере? Неужели... своего? Но ведь дезертир. Нет, нет, пусть что угодно, только не это.

Сухая тряпка быстро впитала всю слюну. В горле пересохло. Он стал задыхаться. Один из несущих сильно сдавил ребра, стало перехватывать дыхание. Послышался

треск сучьев. Апсамат понял: они идут лесом. А, может, им приказано отнести его подальше в лес и прикончить? Он — дезертир, и разговор с ним короткий. Как они его убьют? Наверное, повесят. Хоть бы рот открыли. Он рассказал бы, что сам возвращался с побега, что передумал, раскаялся...

Апсамат затрепетал, задергался и неожиданно крепко ударил связанными ногами одного из «дозорных» в бок. Тот вскрикнул и бросил его. Бросил и другой.

«Сейчас убьют!» — мелькнула кошмарная мысль, и Апсамат начал извиваться и кататься по земле. Тогда один из них подошел и сильно, с размаху ударил его сапогом в ухо. Показалось, что голову проткнули шилом. Но сознание не помутилось, только вокруг возникла необычная мягкая тишина. Апсамат тихо лежал и пытался осознать то, что видел глазами.

Те двое сели в стороне, закурили. «Хоть бы решили, что я мертв, да ушли поскорей», — подумал он. Но те, докурив, развязали ему ноги, один взялся за веревку, второй ударил в спину прикладом, и Апсамат услышал чужую речь.

Теперь сомнений не было.

Апсамат открыл глаза. Кругом была абсолютная чернота. Он не мог ничего ни понять, ни вспомнить. Где он? Неужели в могиле? В голове шумело. Он шевельнулся, и сердце заныло, и все тело заныло, и он вспомнил: его били на допросе. А потом? Может быть, решили, что он мертвый, и выбросили в поле? Но тогда почему нет звезд? Наверное, все небо в сплошных тучах...

Но не было ни малейшего волнения воздуха. Он лежал, конечно, в комнате, в какой-то небольшой наглухо закрытой комнатенке. Похоже, это была старая заброшенная баня: стены источали кисловатый запах мыльной гнили.

Значит, заперли, подумал Апсамат и успокоился, будто все дело было в том, чтобы узнать, где он. Вспомнилось, что вчера он неистово искал уединения, тишины, хотел попасть в глухое безлюдное место. Вот оно то, что искал. Он зло усмехнулся. Усталая голова все никак не прояснялась. Теплый расслабляющий сон полз от ног все выше и выше, и было лень даже шевельнуться. Ему хотелось, чтобы эта приятная истома длилась как можно дольше. Он погружался в мягкий туман.

То ему снилось, что он летит с высокого обрыва в пропасть, то прямо на него с лязгом и грохотом шел громадный танк, от него не уйти, он наползал и с хрустом ломал кости...

Ноги дернулись. Апсамат проснулся. Голова трещала. Он сделал глубокий вдох, приподнялся на локтях, сел, тряхнул головой; показалось, что она набита песком. Плечи свело от сырости, он расправил их, все тело хрустнуло. Голова клонилась вниз. Он долго сидел, напрягая мысль, и постепенно, словно издалека, начала возвращаться к нему память.

Захотелось вспомнить все события по порядку. Они были похожи на короткий ливень: обрушились и оборвались. Все произошло за один день

Утром немцы начали артподготовку.

Потом были танки, наша контратака, погиб сержант... мы отступили... потом новая траншея, и он сбежал. А дальше?

Конвойные избили его и приволокли в какое-то помещение вроде штаба. Их встретили громкими одобрительными голосами, как охотников, которые вернулись с добычей. Его рассматривали, как диковину, кто-то старался ударить его в зад сапогом, а потом втолкнули в маленькую комнатку. С ним остался один конвойный с автоматом. Второй прошел дальше, в следующую дверь.

Апсамат познал, что такое быть пленным. Руки заломлены назад, стянуты так, что ничего не чувствуют, буд-

то чужие; ноют плечи, одно ухо не слышит, из другого сочится кровь, трещат виски, что-то теплое стекает по скуле, по шее, на грудь, глаза не могут оторваться от дула автомата, которое направлено прямо в сердце... Именно в это время ему вспомнился день, когда Гульшан дала согласие, и он, как мальчишка, убежал в степь, прыгал там, резвился и с хохотом швырял камни. Он ли был тем счастливым и свободным джигитом? Ему показалось, что он никогда не был свободным, уже вечность стоит вот так, связанный, в плену. Сердце заныло от тоски.

Вышел второй конвойный, и Апсамата втолкнули в следующую комнату. За столом над картой сидел худощавый горбоносый немецкий капитан. Он даже не поднял головы, только что-то пробурчал.

Конвоиры внимательно обыскали Апсамата, вывернули его карманы, развязали руки. Он попробовал ими пошевелить — они были безжизненны.

Капитан заговорил, не поднимая головы. Тот, что стоял у окна, быстро повернулся на каблуках и четко произнес по-русски:

— Откуда ты шел?

Это был переводчик. Апсамат, услышав русскую речь, опешил и вместо того, чтобы ответить, уставился на него.

— Отвечай, что смотришь?— крикнул переводчик.

По телу Апсамата пробежал холодок.

— Сидел под кустом,— подумав ответил он.

Переводчик повернул голову к капитану, чтобы перевести ответ, но тут до него дошел его смысл, и он понял его как насмешку.

— Не изображай шута, дурак!

— Это правда,— сказал Апсамат, глядя ему прямо в глаза.

Капитан прищурился, ехидно посмотрел на Апсамата: на что, мол, надеешься.

— Пойми, тебе сейчас не до шуток. Если дорога жизнь — отвечай правду. Ты был в разведке. С какой задачей?

Переводчик перевел эти слова, а капитан уставился на Апсамата.

— Я не разведчик,— спокойно ответил Апсамат, не отводя глаз. Он мучился, не зная, что говорить, чего не говорить, за кого себя выдавать. Ему стало лестно, что они считают его разведчиком. И он почувствовал себя настоящим разведчиком и решил стойко держаться.

— Какое пришло пополнение? Сколько человек? Ты ведь приехал не один?

Капитан сверлил Апсамата глазами. «Если отведу глаза,— думал Апсамат,— у него возрастет подозрение, он подумает, что я знаю. Надо держаться просто и решительно».

— Не знаю,— уверенно сказал он.

Капитан подошел к нему вплотную.

— Не хочешь отвечать?

Апсамат повернулся к переводчику: что он сказал? Крепкий кулак молниеносно ударил его в челюсть. Апсамат упал и выругал себя, что просмотрел удар. Капитан стоял над ним и что-то орал. «Наверное, приказывает бить ногами»,— подумал Апсамат и вскочил. Страха уже не было, он почувствовал облегчение.

— Сколько прибыло свежей силы?!

— Не знаю.

Капитан начал бить его по щекам. Апсамат не упал. Это можно терпеть, думал он. Капитан схватил его за ворот и начал душить.

— Отвечай!

Апсамат не мог говорить, горло было сдавлено. Капитан орал и бил, не отпуская воротника. Голова Апсамата болталась из стороны в сторону, из глаз летели

искры, лицо тяжелело и раздувалось. «Это я вытерплю, лишь бы не душил».

— Будешь говорить?

Воротник становился все уже, дышать было все труднее. Капитан вдруг отпустил его.

— Сколько пришло пополнения?

Голос переводчика звучал откуда-то издалека.

— Я сидел под кустом.

Капитан с яростью крикнул «ух!» и ударил Апсамата сапогом в пах. Апсамат упал. Капитан ударил снова. Теперь в грудь. Сердце оторвалось и полетело в глубокую темную яму. За ним плавно полетел и Апсамат. Падение продолжалось бесконечно долго, а дна у пропасти все не было и не было...

Все это вспоминалось, как страшный сон. Апсамат сидел на холодном полу в темной бане и слышал, как временами содрогаясь, слабо билось его сердце. «Все-таки не оборвалось»,— радовался он.

Одолевали мысли. Две из них, как назойливые мухи, терзали неотступно. Первая — муха-вопрос: «Зачем ты сбежал?» — зудела и сверлила мозг без передышки. Вторая — муха-ответ — молчала и мучила молчаньем.

«Зачем ты сбежал? Зачем ты сбежал?» — гудела первая муха. Вторая пряталась, уползала. Вот он поймал вторую муху, теперь ей придется отвечать.

«Зачем ты сбежал?»

«Не знаю...» — невнятно пробормотала муха-ответ.

«Как ты не знаешь? Сам сбежал и не знаешь?»

«Я испугался...»

«Кого?»

«Смерти».

«Какой смерти?»

«Смерти сержанта».

«Нет, говори правду!»

«Не знаю...»

«Ты боишься признаться».

«В чем?»

«В своей трусости».

«Я не трус. Я люблю жизнь».

«Неправда. Ты любишь только себя».

Муха-ответ молчала, у нее не было слов. Апсамату хотелось, чтобы она сгинула. И она уползла.

Апсамату никогда не приходило в голову, что его может постигнуть такая судьба. Ему казалось, что он всегда будет счастлив, как был беззаботен и счастлив до двадцати лет. Его любовь, его цветущая молодость, думал он, даны ему навечно. Старость, болезни, смерть — это не для него. И война, когда она началась, тоже не имела к нему никакого отношения.

И теперь, стоя одной ногой в могиле, он со стороны посмотрел на белый свет. Жизнь там шла своим чередом, так же восходило солнце, так же голубело небо. А если он уйдет из этой жизни? Будет ли восходить солнце или мир охватит непроглядная тьма? В чем смысл смерти?

Его не станет, а мир останется: солнце, как всегда, будет восходить и заходить, величественные снежные вершины будут подпирать небо, реки будут все так же нести свои воды. Только он канет в небытие. Хоть бы он верил в тот свет! Хоть бы был тот свет. Чем просто исчезнуть, лучше кипеть в аду, это ведь тоже продолжение жизни... Пусть умрет тело, осталось бы жить сознание, наблюдать хоть со стороны за всеми чудесами жизни на земле! О, как это страшно — бесследно и навсегда исчезнуть!

Ночь по-прежнему тиха. Где-то вдали затрещал пулемет. Это наши. Разыскивают его, хотят выручить, звуком указывают направление, куда идти. Знали бы они, как он сюда попал, не стали бы искать, не давали бы звуковой ориентир. Пулемет, будто услышав его мысли, замолк. Глухая тишина. Одиночество. Последняя надежда

пропала: наши узнали, что он дезертир, махнули рукой, ушли. Ему захотелось вскочить и заорать во все горло, что он здесь, чтобы наши услышали и спасли. Но в холодном теле не было сил шевельнуться.

Едва забрезжил рассвет, Апсамата отвели в здание, где находились пленные. Вероятно, здесь была школа. Снаружи, около больших разбитых окон, стояли часовые. В длинном зале на полу лежали люди, слышались стоны, храп.

Апсамат остановился на пороге: в нос ударил запах крови и пота. Конвоир пихнул его прикладом в спину, и он упал на кого-то, уперевшись в его живот руками. Тот испуганно проснулся, выругался.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Апсамат чувствовал себя здесь новичком, чужаком, он попятился и тихонько присел в уголке. Серенький рассвет проникал в зал. Уже были различимы те, что лежали у дальней стены.

Апсамат рассматривал спящих. Здесь все свои. Он среди своих. На душе стало легче. Но потом явилась мысль, что они знают, кто он, как сюда попал, поэтому все от него отвернулись...

Осмотревшись повнимательней, он увидел, что за ним никто не наблюдает. Некоторые просыпались, бросали на него сочувственный взгляд и продолжали спать.

Вдруг послышалось:

— Ты киргиз?

Он вздрогнул, повернул голову и увидел джигита, который, стиснув зубы, обнимал колено.

— Да, киргиз.

— Значит, земляки.

Джигит с усилием, двумя руками выпрямил ногу и тяжело вздохнул.

— Шальная пуля, проклятая шальная пуля,— сказал он со злостью. — Уж если попадать, так наповал или бы чуть коснулась. А то видишь как — и живой, и ходить не могу. Когда ранило — потерял сознание. Очнулся — стоят надо мной и бьют ногами. Ну, конец, подумал я и решил хоть одного из них с собой на тот свет прихватить. Хотел вскочить и вцепиться какому-нибудь в горло. Но не устоял на ногах, упал на спину. Самое страшное — напрасно умереть. Как хотелось хоть одного гада прикончить! Не зря бы жил на свете. А сейчас, понимаешь, как обидно!.. — Он заскрипел зубами.

Апсамат испугался, что тот сейчас спросит, как он попал в плен. «Скажу, что был разведчиком». Но джигит ни о чем не спрашивал. Он поглаживал ногу и говорил, говорил...

— Как увидел тебя — будто в аиле побывал. Очень соскучился я по нашим горам. Они стоят, подпирают небо, а человек, словно муравей, ползает по склонам, но он хозяин этих гор. Я бывал горд за муравья... Эх, думал ли когда-нибудь, что попаду в плен! И ведь попал-то совсем глупо! Неужели жизнь кончена? Неужели все? Всю ночь не спал, думал; это мучит меня больше, чем рана... А ведь я только что женился, дурень. Уже три месяца жена носит под сердцем моего ребенка. Встанет он на мое место, имя мое сохранит. Только это меня немного утешает.

Он замолчал: то ли ушел в свои мысли, то ли нахлынула боль, и он сжал зубы.

Апсамат молчал. Он должен поддержать разговор. Но как? Что сказать? Лгать? Ведь правду не скажешь.

Джигит поднял голову, посмотрел на Апсамата в упор.

— На твоем лице места живого нет. Здорово ты дрался, молодец!

В щеки Апсамата, в его вздутые набрякшие щеки хлынула горячая кровь. Стало жарко. Но джигит ничего не заметил и продолжал:

— От врага добра не жди. Известное дело. Но эти на обычных врагов-то не похожи. Звери! Разве можно так издеваться над пленными? Чем так, уж лучше убивали бы сразу. Что за страсть глумиться над безоружным, раненым, полуживым?..

Он снова замолчал, снова стиснул зубы. Опустив голову, молчал и Апсамат. Ему вспомнилась мать. Он увидел ее сидящей на обочине дороги, а он в колонне уходит на фронт. Ему подумалось, что она и сейчас сидит там же, и так же отрешенно смотрит вдаль и кивает головой.

— Не печалься, брат,— сказал джигит, передохнув.— Мы не одни. Все вытерпим вместе. Жаль только, что хорошие люди умирают... Как тебя зовут-то?

— Апсамат.

— А меня Назарбек.

Когда солнце поднялось над горизонтом, всех пленных подняли и куда-то погнали. Апсамат впервые увидел село, по которому прошла война. Обугленные развалины, сгоревшие крыши, черные трубы. В уцелевших домах — ни одного стекла. Стоят, как слепые. Из-за развалин, из окошек выглядывают испуганные старики, старухи, дети. Они боятся плакать, но смотрят на пленных так, что сердцу становится больно. Нигде ни одного взрослого мужчины. Кое-где из-за спин стариков выглядывают молодые женщины. Они, кажется, вздыхают, их горячее дыхание касается лиц пленных.

Апсамат с Назарбеком шли в середине колонны, Назарбек опирался на его плечо. Вдруг он приостановился и выругался:

— Глянь на их работу! — И кивнул вправо.

Апсамат посмотрел и вздрогнул. Перед большим зданием — вероятно, там было правление колхоза — «новые хозяева» соорудили виселицу. На ней висело два челове-

ка. Апсамат не выдержал, опустил голову. По телу пробежал мороз. Но голову тянуло к виселице, поворачивало, как магнитом. Лица у повешенных были темно-синие, вздутые, глаза вылезли из орбит, будто вот-вот выскочат. Тела тихонько покачивались.

Их увидели все пленные, и каждый, вздохнув, еще ниже опустил голову. В ушах Апсамата зазвенело, словно весь мир беззвучно оплакивал тех двоих.

Когда колонна пленных вышла за село, их остановили, раздали лопаты, которые лежали здесь горой и, отметив каждому по метру, приказали рыть ров.

Апсамат понял, для чего нужен ров. Он понял, что умрет, что здесь, в этом рву, его закопают, и холод смерти поселился под ложечкой. Он огляделся. Цель этой работы понимали, видимо, все; каждый молчаливо смотрел вниз и размеренно, ритмично копал землю. Апсамат тоже вошел в общий ритм, и это его немного успокоило.

Назарбек работал сидя. Он то поглядывал на конвойных, которые стояли вокруг с автоматами наготове, то вдруг бросал работу, садился на бугорок и казалось вот-вот кинется он с лопатой на фрица. Но он вздыхал и снова принимался колупать жесткую землю.

Апсамат боялся, как бы гитлеровцы не раскрыли намерений Назарбека, но тут же его захлестывали противоречивые мысли. «Так и так умрем, чего бояться?.. Но броситься с лопатой на автомат — бессмыслица!.. А какой смысл — вырыть себе могилу и подставить грудь под автомат? Вот если бы броситься всем сразу... Но ведь автоматов много...» Мысли путались.

Назарбек весь переменился. Закусив губу, превозмогая боль в ноге, он начал орудовать лопатой остервенело. Выкопав небольшую ямку, пересаживался на новое место. Там, где он только что сидел, оставалась лужа крови.

— Назарбек, не спеши, — негромко говорил Апсамат.

Но тот не слушал и с какой-то отчаянностью вгрызал-

ся в землю. Если лопата не шла, он налегал грудью. По лицу катился пот — он его не замечал. Казалось, он истосковался по этой лопате, по этой яме. Щеки его горели, в глазах блестел злой азарт.

Когда ров был готов, из села пригнали всех жителей. Пленных отвели в сторону, выстроили в ряд.

«Почему нас будут расстреливать не у самого рва?»— подумал Апсамат. — Наверное, женщин и стариков заставят таскать трупы и закапывать».

Перед строем пленных появилось несколько офицеров. Апсамат сразу узнал вчерашнего капитана.

Все притихли.

Жители села стояли, боясь шелохнуться, и, затаив дыхание, смотрели на пленных. Апсамат все еще не мог поверить в то, что сейчас должно было произойти. Затылок, шею, спину ласкало теплое солнце, его прикосновение было так приятно.

На строй пленных смотрят черные дула автоматов. Апсамат не сводит глаз с одного из них. Этот для него... Вдруг показалось, что предназначенная ему пуля уже вылетела из ствола и давно пробила грудь где-то под ложечкой, и теперь там дыра и сквозь нее свистит холодный ветер, а он, Апсамат, летит в ров, летит, летит и все никак не достигнет дна.

— Коммунисты и командиры — два шага вперед!

От неожиданно громкого крика Апсамат вздрогнул и чуть не выскочил из строя. Пленные замерли.

От группы офицеров отделился капитан. Он шел вдоль строя и пронзал пленных взглядом. Из рядов никто не вышел. Переводчик взглянул на капитана и рявкнул команду снова.

Все вокруг замерло. Жители села смотрели на пленных так, будто сейчас под ногами обреченных разверзнется земля. Капитан побледнел и плотно сжал губы. Он таращил глаза и ждал.

Апсамату показалось, что этот момент слишком затя-

нулся: терпение и той, и другой стороны иссякло, вот-вот произойдет взрыв. Приближалась решающая минута. Апсамат боялся этой минуты. «Чего они тянут? — подумал он. — Взяли бы да вышли!» И тут же устыдился. «Что это я? Совсем спятил!»

Вдруг с другого конца строя вперед вышел высокий здоровяк. Все головы мгновенно повернулись к нему. В это время кто-то шепнул на ухо Апсамату:

— Ты коммунист?

Апсамат испуганно оглянулся: Назарбек. Снова горят его щеки, снова дико блестят глаза. Апсамат не мог открыть рта, только мотнул головой. Назарбек дрожащей рукой торопливо сунул Апсамату в карман брюк маленький сверточек и задыхаясь прошептал:

— Аманат[1]... сохрани... доставь нашим... смотри, чтоб не попало... им в руки.

Не ожидая ответа, Назарбек рванулся вперед. Раненая нога не сгибалась, он качнулся и чуть было не рухнул на землю, но тут кто-то выскочил из рядов и поддержал его.

Из строя вышло человек двадцать. Остальные стояли, как каменные. Тогда капитан начал вытаскивать тех, кто ему приглядывался. Апсамату стало легче, он был уверен, что его не выведут, он останется жить, ведь у него есть охранная грамота — аманат, который надо передать нашим. Он обязан передать аманат.

Солдаты прикладами автоматов гнали обреченных пленных ко рву. Назарбек шел молча, но чувствовалось, как в нем клокотала еле сдерживаемая ненависть.

Апсамат неотрывно смотрел в спины уходящих, и его охватило неведомое доселе чувство: казалось, что они оставили его, не взяли с собой как негодного для большого и трудного дела.

---

[1] А м а н а т — священная тайна; предмет, отданный на хранение или для передачи кому-нибудь.

Пленных выстроили в цепочку лицом ко рву. За их спинами встали автоматчики. Молчали пленные, молчали жители села. Молчали и гитлеровцы. Они размахивали руками и молча, как в немом кино, деловито перебегали с места на место. В сгустившейся тишине раздавался лишь крик капитана, но он был вне пространства и тишины не нарушал. Фашисты спешили. Так спешат воры, когда хотят скорее уйти.

И вдруг одинокий женский крик пронзил плотный воздух. Все вздрогнули. Капитан вынул белый платок, вытер лицо и пролаял команду. Апсамат не выдержал, отвернулся. Еще одна команда — и грянули автоматные очереди, сразу перекрытые криками, причитаниями и плачем жителей села.

Апсамату почудилось, будто Назарбек оглянулся, чтобы в последний раз увидеть его, своего земляка, которому доверил аманат; Назарбек стоит пронзенный пулей, ему надо падать в ров, но он не падает, стоит, стоит и ждет его взгляда... Апсамат повернул голову. Но людей возле рва не было. Будто ветром сдуло. Только редкий голубой дымок таял в воздухе.

В эту ночь Апсамат не сомкнул глаз. Многие не спали, но никто не хотел разговаривать, каждый лежал там же, где вчера. Места расстрелянных никто не занимал. Рядом с Апсаматом пустовало место Назарбека. Сон не шел. Тело потеряло чувствительность, оно спало, но сон остановился около подбородка и не мог покорить возбужденную голову. Она была заполнена тем, что Апсамат хотел бы поскорей забыть. Перед глазами были ров и вал свежей земли, Назарбек и его товарищи по судьбе, палачи и голубой рассеивающийся дымок.

В детстве Апсамат очень хотел быть храбрым. Он ловко играл роль храбреца, и ребята ему верили. Когда они целой ватагой шли воровать дыни с колхозной бахчи, он гордо шел впереди, демонстрируя презрение к опасности и подбадривая своим видом всех ребят. Но вот они

подходили к самой бахче. Был хорошо виден костер сторожа, тени около огня. Смелость вдруг пропадала, но Апсамат, преодолевая страх, решительно шел впереди, увлекая всех за собой... И тут он ушибал ногу о несуществующий камень. И останавливался. Дело, однако, было начато, ребята уже шныряли среди дынь. Если кто задерживался узнать, что с ним, он, прихрамывая, кивал на ногу, но был полон отваги и показывал рукой вперед, мол, не бойтесь, я с вами. Ребята в темноте поспешно рвали, что попало, и возвращались с дынями, добрая половина которых была зеленой, негодной, и тогда Апсамат, картинно припадая на «больную» ногу, говорил: «Жаль, что я на камень налетел, а то бы мы взяли дынь получше». И ребята верили. Да и самому в тот момент начинало казаться, что он смельчак и сорвиголова.

Апсамат вспомнил Назарбека. И вспомнил богатырские сказания, которые слышал в детстве. Да, были когда-то давно набеги врагов и великие битвы, он верил, но смерть бесстрашных героев, которые погибали с гордо поднятой головой — это казалось ему преувеличением. И вот сегодня сказка смешалась с былью. Назарбек сам рванулся из рядов и присоединился к смертникам. Это заставляет подумать о многом. А вдруг и Назарбек трусил и только играл в храбреца перед людьми? Если бы Апсамат вспомнил хоть маленький признак трусости в его поведении, ему стало бы легче. Но нет, Назарбек не играл, зачем ему было притворяться? Ведь он смотрел в глаза смерти. Интересно, каким он был в детстве?

На другой день пленных опять погнали за село. Дорога была вчерашняя, ко рву. Апсамат вдыхал утренний свежий воздух и думал, что теперь настал их черед. Он удивился, что сегодня смерть не казалось ему страшной.

За последние дни он видел много смертей, и они были разные. Одно дело — на поле боя, когда у тех и у

других в руках оружие, равные возможности. Но то, что было вчера — непостижимо! Убивали безоружных пленных, многие из которых были ранены! Апсамата захлестнуло чувство великой ненависти к убийцам. Об этом он думал всю ночь. Перед глазами прошла его жизнь, день за днем. И он, просматривая эту жизнь, вдруг открыл для себя, что ему и в голову никогда не приходила мысль о возможности такой судьбы. Его путь всегда представлялся ему радужным и праздничным.

Под утро он вспомнил об аманате и вытащил из кармана маленький четырехугольный сверток. «Наверное, топографическая карта с планом операции или какая-нибудь другая военная тайна», — думал он. Но в свертке оказался партбилет Назарбека. Апсамат испугался, ему сразу почудилось, что охранники смотрят в окно, и, конечно же, видят партбилет! Эх, растяпа! Он быстро сунул билет за пазуху и огляделся. В окна никто не смотрел. Тогда Апсамат снова его достал и начал листать. Еще только-только рассветало. В слабом свете он прочитал фамилию Назарбека, райком, где тот стоял на учете. Это был соседний район! Повеяло запахом родной земли, сердце опять защемило.

Этим утром в нем зародилось новое чувство, которое принесло ему уверенность и даже некоторое успокоение. Оно заметно обогатило его, вытеснив ощущение неполноценности. Все заключалось в аманате Назарбека. Он должен выполнить его поручение, теперь уже завещание. Равнодушие к жизни, которое возникло вчера днем, улетучилось; на смену ему явилось страстное желание жить, и это было уже не прежней жалостью к себе, не любовью к своему телу, а чувством долга, осознанием ответственности.

И теперь, шагая в колонне пленных по вчерашней дороге, Апсамат думал: неужели он не выполнит наказа Назарбека? Неужели так и уйдет из жизни, ничего не сделав для другого?..

Вот и ров. А за ним проходит дорога, Апсамат вчера ее не заметил. Все головы повернулись в сторону рва, но конвоиры закричали и направили колонну вдоль рва по дороге. Апсамат понял, что их не собирались расстреливать. Ему казалось, что некоторые во рву еще живы и шевелятся, задыхаются, мучаются от жажды. Он заглянул в ров. Трупы слабо присыпаны землей. Никакого шороха, никакого движения. В одном месте из земли прямо вверх торчала окоченевшая рука с растопыренными пальцами. Апсамат вздрогнул: его пронзила мысль, что это Назарбек, убедившись в его неспособности выполнить завещание, требует назад свой партбилет.

ТЕТРАДЬ АПСАМАТА

«...Я ранен, с утра до ночи лежу в сырой землянке, и поэтому мне особенно тяжело. Все пережитое скрутилось во мне в один тугой узел, и он давит меня. Единственное облегчение — обо всем написать. Если человека придавило горе, ему необходимо выговориться, выплеснуть то, что его переполняет, или хотя бы выйти в поле, припасть к пахучей земле, обнять ее и выплакаться. Мне остается писать. Так я освобождаюсь от груза...»

ПИСЬМО СЕРЖАНТА

«...Мы хранили записи Апсамата целых полтора года, пока представилась возможность отправить почту через линию фронта...»

Случилось то, чего Апсамату и во сне не могло присниться: он встретил сержанта, да, того самого сержанта, которого оставил убитым, заваленным по пояс землей на поле боя.

А было это так. Колонну пленных привели на какую-то железнодорожную станцию и загнали в огромный пакгауз. Здесь было множество пленных, наверное, со всех участков фронта. Ходили разные слухи: одни говорили, что всех расстреляют, другие — что угонят на работу в Германию. Второе было более вероятным и более страшным.

Апсамат, придавленный своими мыслями, опять не мог войти в среду пленных. Да и они не очень-то обращали на него внимание. И то, что к нему никто не проявлял интереса, его ненужность еще больше угнетала.

Он хотел было рассказать пленным о своих злоключениях, об аманате Назарбека, но не смог. Ему показалось, что если он отдаст кому-нибудь эту тайну, душа его лишится важной опоры.

Теперь его терзала мысль, что делать с партбилетом, если их всех повезут в Германию. Он ходил среди пленных сумрачный, замкнутый, ощущая за пазухой аманат. И тут он встретил сержанта.

Он столкнулся с ним буквально носом к носу, вернее — лбом ко лбу, поскольку оба брели с опущенными головами, углубленные в свои мысли. Как незнакомые, оба машинально хотели уступить друг другу дорогу, оба качнулись в одну сторону, в другую и подняли головы. Оба в первый миг не поверили своим глазам.

— Ты?

— Ты?..

И бросились друг другу в объятия.

Когда на людей наваливается большая беда, она объединяет их, а старые стычки и обиды уходят далеко, на задний план, теряют былую значимость. Апсамат подумал об этом во время жаркого дружеского разговора с сержантом. И тут же устыдился этой мысли, потому что на открытом лице сержанта не было и тени обиды или недоверия. Апсамат упрекнул себя за злопамятность. Но неловкость его не покидала, ведь он бросил сержанта

раненым на поле боя, а для спокойствия сказал тогда себе, что сержант, вероятно, был мертв. Апсамат не мог об этом заговорить, но в ходе разговора понял, что сержант его тогда не узнал, видимо, был без сознания. Это не сняло с Апсамата чувства вины.

Они ушли с сержантом в угол пакгауза и долго говорили. Левое плечо сержанта выпирало вперед, было раздуто, перевязано нижней рубашкой. Он рассказал, как попал в плен. В тот день он пришел в себя только к вечеру и увидел, что завален по пояс землей. К полуночи выбрался, побрел назад, на восток. Но в траншее наших не было, эти позиции были заняты врагом...

Апсамат слушал вполслуха, а сам думал: что говорить, когда настанет его черед рассказывать, как попал в плен? Еще вчера он хотел исповедаться перед кем-нибудь из пленных, но теперь чувствовал, что не может, слишком это тяжело.

Сержант ни о чем его не спросил, разговор ушел в сторону. Заговорили о главной, мучившей в эту минуту всех пленных, проблеме: надо бежать, надо организовать побег, ведь фашисты собираются их угнать на работу в Германию.

Поведение пленных насторожило гитлеровцев. Охрану увеличили еще днем. Поэтому, когда Апсамат рассказал сержанту о Назарбеке и его аманате, сержант посоветовал получше спрятать партбилет: в любую минуту охранники могли устроить обыск.

Вдвоем с сержантом они, обдирая пальцы, вынули в углу из неоштукатуренной стены два кирпича, спрятали партбилет, поставили кирпичи на место.

Эта ночь для Апсамата было особенной. Давно уже он не спал так сладко и безмятежно.

Встреча с сержантом настолько облегчила и успокоила его душу, что он даже забыл о плене. У него было ощущение, будто он долгие годы находился в изгнании, на чужбине, и вот его простили и разрешили вернуться

домой. Он лежал рядом с сержантом и думал: «Как хорошо, что у человека есть родина, что чувство родины помогает вынести самые тяжелые испытания...» Он рад был, что после страшных, жестоких дней явственно ощутил в себе это чувство. Он смотрел на спящего сержанта и думал: «Завтра расскажу ему о всех моих приключениях». И заснул, умиротворенный.

Проснулся от удара в затылок. Вскочил, огляделся: кругом были немцы. Они кричали, били пленных прикладами, выгоняли на улицу. Апсамат растерялся. Поискал глазами сержанта. Тот нетвердой походкой уже выходил из пакгауза, с двух сторон его поддерживали пленные. Апсамат кинулся за ним. И тут же вспомнил о спрятанном партбилете, повернул назад... и получил сильный удар в грудь прикладом автомата. Он чуть не упал, но его поддержали и шепнули:

— Не падай, а то пристрелят!

Словно щепку, его вынесло на улицу. Пленных ждал поезд. Апсамат с сержантом оказались в разных вагонах. Безвыходность положения сделала всех мрачными, злыми. Вагон был очень прочный, инструментов — никаких. Ни вырваться, ни выброситься.

Ехали долго. Но уехали недалеко, потому что через каждые полчаса езды стояли часа по три, пропуская военные эшелоны, которые спешили на восток.

Стояла ночь. Все сидели угрюмые, не было уже никаких надежд, даже на чудо.

И вдруг чудо свершилось: раздались взрывы, вагоны сильно тряхнуло, они налетели друг на друга, чуть не перевернулись. Пленные вскочили, бросились к затянутому проволочной сеткой маленькому окошку, но ничего не было видно. Послышалась стрельба. В первый миг никто ничего не понял, но через несколько секунд вагоны кричали на все голоса:

— Партизаны!

— Ура!

— Бейте гадов! На нас не смотрите!

— Сюда! Мы здесь! Открывайте!

Перестрелка скоро кончилась. Двери вагона с лязгом раздвинулись — и пахнуло ночной свежестью. Пленные рванулись наружу. Земли не было видно, но все прыгали и кубарем катились вниз по насыпи, вставали и бежали на чей-то голос. Сзади снова застрочили автоматы, видно не все конвоиры были перебиты. Кто-то громко скомандовал:

— Ложись!

Партизаны залегли и продолжали перестрелку. Но пленные не хотели ложиться: обрадованные внезапно свалившейся на них свободой, они бежали, растекаясь по кустарнику, как ручьи. Перестрелка поредела. И тут Апсамат вдруг на что-то налетел, на какое-то препятствие вроде изгороди, и рухнул на землю. Он вскочил, хотел бежать дальше, но не смог, правая нога не шла, не слушалась. Бедру стало горячо, голова закружилась. Топот пленных отдалился. Уже пробегали поодиночке партизаны, которые оставались для прикрытия. Апсамату стало жутко. Неужели он останется здесь один и снова попадет в плен? Он попытался закричать, но голос его был слаб, люди пробегали мимо, а его не слышали. Попробовал ползти — никакого толку: пальцы рвали траву, скользили по сырой земле. Он терял силы, мучительно хотелось пить, и он замер, уткнулся носом в землю и начал с усилием вдыхать приятную прохладу осенней травы. От этого запаха прояснилось затуманившееся сознание, он почувствовал даже некоторый прилив сил. Ах, какой это был запах! Что-то подобное он ощущал, когда лежал в горах в тени арчи... Запах земли, родной земли.

Апсамат чувствовал, что если он оторвет голову от земли, расстанется с этим запахом, то потеряет сознание. Сзади еще слышны выстрелы. Неужели снова плен?

Совсем близко послышался топот. Апсамат собрал все силы и закричал. К нему подбежали двое, подхвати-

ли под руки и поволокли. Раненая нога так болела, словно ее вырывали, выкручивали, но никак не могли вырвать.

— Оставьте меня, не надо... простонал Апсамат и потерял сознание.

ОКОНЧАНИЕ ЗАПИСЕЙ АПСАМАТА

«...Мне уже лучше. Партизанские лекари меня выходили. Теперь я не лежу целый день в землянке, а гуляю по лесу, опираясь на самодельный костыль.

Отряд у нас небольшой, но командиры надеются вскоре слиться с крупным соединением. Партизаны уходят на операцию вечером, а возвращаются под утро. Некоторые не возвращаются совсем. Трудно поверить, что человека, который вчера с тобой разговаривал, курил самокрутку, больше нет на свете. Кажется, он отстал от группы и через минуту появится. Усталые партизаны сидят на привычных местах, только его место пусто. Будто он только что ушел. Скоро я займу это место и буду так же, как все, чистить оружие.

Я много раз порывался рассказать сержанту все, что со мной произошло, но слова комом застревали в горле. Я готов понести любое наказание. Но я боюсь, вдруг мое признание не так поймут и не зачислят в отряд. Я снова буду одиноким, отверженным. Я уже был одиноким. В то же время я чувствую, что все рассказав, я свалю с души большой груз.

Я еще не выполнил поручение Назарбека. Его партбилет все там же, за кирпичами. А что если гитлеровцы его нашли? А может быть, и пакгауза уже нет?..

В отряде знают об аманате. Недавно группа была у станции. Пакгауз цел.

Иногда мне снится Назарбек. Он кричит: «Негодяй!» Я просыпаюсь в холодном поту. Если умру, не выполнив его завещания, то действительно окажусь негодяем.

Вчера сержант сказал мне, что готовится вылазка на станцию, там недалеко есть железнодорожный мост, его надо взорвать. Сейчас разрабатывают план операции. Как я хочу к тому времени встать в строй!

Раньше я думал, что на оккупированной земле все замерло. Оказывается, и здесь кипит борьба. Смотрю на уверенных, деловитых партизан и на душе делается спокойно...»

ОКОНЧАНИЕ ПИСЬМА СЕРЖАНТА

«...Это был жаркий бой. Мы взорвали мост. Апсамат хотел пробраться на станцию, в пакгауз, взять аманат. Фашистов там было немного, чтобы отвлечь их внимание, я перенес огонь своего отделения на центральное здание станции. Они решили, что мы будем атаковать и сразу перешли в оборону. Апсамат пополз вдоль насыпи к пакгаузу. Вместе с ним пошел еще один партизан. Мы видели, как они вошли в пакгауз и вскоре вышли, поползли обратно. Мы усилили огонь. Но немцы заметили двоих, уходящих вдоль насыпи, и ударили по ним из пулемета. Апсамату и его товарищу ничего не оставалось, как встать и бежать. Местность была открытая, попасть в них было не трудно. Они бежали быстро. Когда до нас, до опушки леса оставалось метров пятьдесят, их обоих сразила пулеметная очередь. Мы подавили пулемет, а потом подползли к ним, перенесли в лес. Апсамат был еще жив. Я позвал его по имени. «Возьми аманат», — сказал он. И добавил: «Солнце светит?»

Я не успел ему ответить. Глаза, устремленные в небо, застыли. Я прикрыл их своими руками. Здесь же на опушке леса мы его похоронили».

1965 г.

24 к.

